

Пётр Алексеевич Кропоткин

# Записки революционера



Пётр Кропоткин  
**Записки революционера**

«Public Domain»

## **Кропоткин П. А.**

Записки революционера / П. А. Кропоткин — «Public Domain»,

Мемуары воспитанника Пажеского корпуса, казачьего офицера, исследователя-географа, мыслителя, социалиста-анархиста, князя Петра Алексеевича Кропоткина, представляют несомненный интерес не только своей первой частью, в которой автор рассказывает о «военной» и «исследовательской» фазах своей жизни, но и тем, что Кропоткин, будучи человеком искренне желающим бескровных преобразований на благо человека как в России, так и во всём мире, является ярчайшим представителем прогрессора европейского образца конца XIX столетия, когда в свете либерализации, феминизации, в свете декларируемых всеми «цивилизованными правительствами и обществами» гуманистическим принципам мирового общежития, и на фоне стремительно ускорявшегося технического прогресса, укреплялась надежда на то, что человечество сможет самоорганизоваться, как и подобает разумной биомассе. Увы, то был сон золотой.

## Содержание

Предисловие автора к первому русскому изданию	5
Часть первая	7
Глава I	7
Глава II	10
Глава III	11
Глава IV	15
Глава V	20
Глава VI	23
Глава VII	27
Глава VIII	37
Глава IX	45
Глава X	47
Часть вторая	50
Глава I	50
Глава II	56
Глава III	62
Глава IV	67
Глава V	70
Глава VI	73
Конец ознакомительного фрагмента.	76

# Петр Кропоткин

## Записки революционера

### Предисловие автора к первому русскому изданию

Многое из того, что рассказано в этой книге, не ново для русского читателя, а многое из того, что особенно могло бы заинтересовать русского, рассказано, может быть, слишком кратко. Но последние годы вымирания крепостного права, никогда не казавшегося так прочным, как в те годы, затем эпоха возрождения России в шестидесятых годах и, наконец, следовавшие затем «семидесятые годы», годы пробуждения общественной совести среди молодежи по отношению к забитому и обманутому русскому народу, эти три десятилетия так знаменательны в русской жизни и так сильно наложили свой отпечаток на дальнейшую историю нашей родины, что иногда и мелкая подробность личной жизни или общественного настроения имеет свое значение. В некоторых случаях она лучше освещает эпоху, чем целые страницы рассуждений.

Притом же Россия живет быстро за последнее полстолетия. Крепостное право и крепостные нравы, с тех пор как пронеслись над нами шестидесятые годы и прошла полоса очистительная, беспощадная критика нигилизма, как будто отошли куда-то очень далеко, в бледную, туманную перспективу времен. Даже великое движение в народ забыто и представляется современной молодежи каким-то сказочным героическим периодом, который можно толковать так же своевольно, как и дела давно минувших лет, относясь к нему то с чуть не религиозным уважением, то с высокомерным презрением «охранителей порядка».

Между тем, как ни далеко отошло от нас в исторической перспективе крепостное право и его обычаи, как ни кажутся нам забыты крепостнически-государственные идеалы, вызвавшие кровавое усмирение восставшей Польши, наследие тех и других еще живо среди нас. Оно не умерло ни в актах правительства, ни даже в складе мысли передовых людей, до сих пор несущей на себе следы тисков крепостного государства. Задачи, поставленные России освобождением крестьян, но брошенные неразрешенными надвинувшегося реакцией, стоят и поныне непочатые перед русской жизнью; а идеалы николаевщины по сию пору еще стремятся сызнова водвориться в России.

Громадный шаг, сделанный в начале шестидесятым годов уничтожением личного рабства крестьян и физического истязания «непривилегированных» на лобном месте, — этот шаг, которого все значение могут оценить только люди нашего поколения, забывается понемногу. Крепостной строй, разбитый в 1861 году, вернулся снова в русскую жизнь под покровом новых мундиров, но с теми же приемами, целями и задачами порабощения массы в пользу привилегированных и правящих. Идеал жандармского сосредоточенного сильного государства, который в 1863 году сплотил вокруг престола, против Польши, даже недовольные элементы русского общества, — идеал централистов — опять ожил среди нас. Опять он увлекает тех, кто считает себя призванным руководить судьбами России, опять стоит он на пути развития местной жизни и местной самостоятельности. И, наконец, рабство мысли и раболепие — в науке перед авторитетом, а в жизни перед мундиром, которое так возмущало лучших людей в конце пятидесятых годов и вызвало резкий протест Базарова, — вновь оживают среди нас.

И теперь, как и тогда, несмотря на несомненное пробуждение самосознания среди крестьян и городских рабочих, — даже именно вследствие того, что веками угнетенный крестьянин поднимает голову и сам начинает утверждать свои доселе попранные права на волю, — снова является тот же самый вопрос перед всяким думающим молодым человеком из при-

вилегированных классов, который мы себе ставили тридцать лет назад: «Стану ли я пользоваться своим привилегированным положением и, рассматривая дело освобождения крестьян и рабочих как дело их класса, а не моего, – отнесусь ли я равнодушно к их усилиям? Или же, понимая, что прогресс в человечестве не разделен, что он возможен только тогда, когда он охватывает всех, и что нищета и угнетение одних ведут за собой нищету духа и рабство всех, – сочту ли я себя простой частицей большого целого и не понесу ли я в среду народа те знания, тот свет, ту веру в свободу и освобождение, которые позволили мне стать свободным и побудили стряхнуть с себя ярмо предрассудков и отказаться от наследия рабского прошлого?»

Если эта книга поможет кому-нибудь разрешить этот вопрос, она достигнет своей цели.

Еще два слова. Почему так случилось, что записки русского преимущественно о русской жизни – пришлось переводить другому с английского языка, – требует нескольких слов объяснения.

Начал я писать эти записки, конечно, по-русски. Первая часть «Детство» – была уже написана, когда я попал, осенью 1897 года, в Америку. В Америке я встретился с очень симпатичным человеком Вальтером Пэджем, который был тогда издателем ежемесячного журнала «Atlantic Monthly». Он уговорил меня засесть за мои мемуары, кончить их и начать печатать их в его журнале. Я так и сделал, то есть описал – опять-таки по-русски, но подробнее, чем здесь, – мою юность. Затем для «Atlantic Monthly» я написал все это вновь, в сокращенной форме, по-английски; а потом, когда началось печатание, я успевал писать по-русски только часть того, что должно было войти в каждую книжку, и переходил к английскому тексту.

Когда зашла речь о напечатании группой русских товарищей за границей русского издания «Записок революционера», то возник вопрос: что печатать русский ли текст, более подробный, особенно по русским делам, чем английский, или перевод с английского? Первое представляло, однако, значительные неудобства, так как за отсутствием полного русского текста пришлось бы заполнять значительные промежутки переводами с английского, что, конечно, нарушило бы цельность книги. А так как за русский перевод предложило мне взяться вполне компетентное лицо, то мы остановились на переводе с английского. Мне остается только душевно поблагодарить переводчика за его прекрасный перевод, сделанный им с такой любовью, что он вполне заменяет оригинал.

*П. Кропоткин*  
*Июль 1902*

# Часть первая

## Детство

### Глава I

#### Старая Конюшенная

Москва – город медленного исторического роста. Оттого различные ее части так хорошо сохранили до сих пор черты, наложенные на них ходом истории. Замоскворечье, с его широкими сонными улицами и однообразными, серыми, невысокими домами, ворота которых накрепко заперты и днем и ночью, осталось поныне излюбленным местом купечества и твердыней суровых, деспотических, преданных форме старообрядцев. Кремль и теперь еще является твердыней государства и церкви. Громадная площадь пред ним, застроенная тысячами лавок и лабазов, с незапамятных времен представляла настоящую торговую толчею и до сих пор является сердцем внутренней торговли обширной империи. На Тверской и Кузнецком мосту издавна сосредоточены главные модные магазины, тогда как заселенные мастеровым людом Плющиха и Дорогомилово сохранили те самые черты, которыми отличалось их буйное население во времена московских царей. Каждая часть составляет сама по себе отдельный мирок, со своей собственной физиономией, и живет своей особой жизнью. Даже склады и мастерские, тяжело нагруженные вагоны и паровозы железных дорог, когда последние вторглись в древнюю столицу, и те сосредоточились отдельно, в особых центрах, на окраинах старого города.

И из всех московских частей, быть может, ни одна так не типична, как лабиринт чистых, спокойных и извилистых улиц и переулков, раскинувшийся за Кремлем между Арбатом и Пречистенкой, и известный под названием Старой Конюшенной.

Около пятидесяти лет назад тут жило и медленно вымирало старое московское дворянство, имена которого часто упоминаются в русской истории до Петра I. Эти имена исчезли мало-помалу, уступив место именам новых людей «разночинцев», призванных на службу основателем русской империи. Чувствуя, что его оттеснили при петербургском дворе, родовитое дворянство удалится на покой либо в Старую Конюшенную, либо в свои живописные подмосковные. Оттуда оно глядело с некоторым презрением и с тайной завистью на пеструю толпу, занявшую высшие правительственные должности в новой столице на берегах Невы.

В молодые годы большинство из них тоже пыталось счастье на государственной, большей частью военной, службе; но в силу тех или других причин вскоре оставляло ее, не добравшись до высоких чинов. Наиболее счастливые (мой отец был в числе их) получали какую-нибудь покойную почетную службу в родном городе; большинство же просто выходило в отставку. [Но в какой бы дальний угол России их ни забрасывала служба, родовитые дворяне все как-то ухитрялись доживать старые годы в собственном доме в Старой Конюшенной, вблизи той самой церкви, где их когда-то крестили и где отпевали их родителей. Церквей в этой части Москвы множество; все они со множеством главков, на которых непременно красуется полумесяц, попираемый крестом. Одни из этих церквей раскрашены в красный цвет, другие – в желтый, третьи – в белый или коричневый, и каждого тянуло именно к своей – желтой или зеленой церкви. Старики любили говорить: «Здесь меня крестили, здесь отпевали мою матушку. Пусть и меня будут здесь отпевать».]

Старые корни пускали новые побег. Некоторые из них более или менее отличались в различных концах России; иные приобретали более роскошные, в новом стиле, дома в других частях Москвы или в Петербурге; но истинной представительницей рода считалась все та же ветвь, какое бы ни было ее положение в родственном древе, вторая жила возле зеленой, желтой, розовой или коричневой церкви, ставшей дорогой по семейным событиям. К старомодному представителю рода относились с большим уважением, хотя, должен сознаться, не без некоторой примеси легкой иронии, даже те молодые представители рода, которые покинули свой город и сделали блестящую карьеру в гвардии или же при дворе: старик являлся для молодых олицетворением древности рода и его традиций.

В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все дома были очень похож друг на друга. Большею частью они были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами; у всех фасад с колоннами, все выкрашены по штукатурке в веселые цвета. Почти все дома строились в один этаж, с выходящими на улицу семью или девятью большими светлыми окнами. На улицу выходила «анфилада» парадных комнат. Зала, большая, пустая и холодная, в два-три окна на улицу и четыре во двор, с рядами стульев по стенкам, с лампами на высоких ножках и канделябрами по углам, с большим роялем у стены; танцы, парадные обеды и место игры в карты были ее назначением.

Затем гостиная тоже в три окна, с неизменным диваном и круглым столом в глубине и большим зеркалом над диваном. По бокам дивана – кресла, козетки, столики, а между окон – столики с узкими зеркалами во всю стену. Все это было сделано из орехового дерева и обито шелковой материей. Всегда вся мебель была покрыта чехлами. Впоследствии даже и в Старой Конюшенной стали появляться разные вычурные «трельяжи», стала допускаться фантазия в убранстве гостиных. Ни в годы нашего детства фантазии считались недопустимыми, и все гостиные были на один лад. За большую гостиную шла маленькая гостиная с цветным фонарем у потолка, с дамским письменным столом, на котором никто никогда не писал, но на котором зато было расставлено множество всяких фарфоровых безделушек. А за маленькой гостиной – уборная, угольная комната с громадным трюмо, перед которым дамы одевались, едуци на бал, и которое было видно всяким входившим в гостиную в глубине «анфилады». Во всех домах было то же самое, единственным позволительным исключением допускалось иногда то, что «маленькая гостиная» и уборная комната соединялись вместе в одну комнату. За уборной, под прямым углом, помещалась спальня, а за спальней начинался ряд низеньких комнат; здесь были «девичьи», столовая и кабинет. Второй этаж допускался лишь в мезонине, выходящем на просторный двор, обстроенный многочисленными службами: кухнями, конюшнями, сараями, погребам и людскими. Во двор вели широкие ворота, и на медной доске над калиткой значилось обыкновенно: «Дом поручика или штаб-ротмистра и кавалера такого-то». Редко можно было встретить «генерал-майора» или соответственный гражданский чин. Но если на этих улицах стоял более нарядный дом, обнесенный золоченой решеткой с железными воротами, то на доске, наверное, уже значился «коммерции советник» или «почетный гражданин» такой-то. То был народ непрощенный, втершийся в квартал и поэтому не признаваемый соседями.

Лавки в эти улицы не допускались, за исключением разве мелочной или овощной лавочки, которая уютилась в деревянном домике, принадлежавшем приходской церкви. Зато на углу уже, наверное, стояла полицейская будка, у дверей которой днем показывался сам будочник, с алебардой в руках, чтобы этим безвредным оружием отдавать честь проходящим офицерам. С наступлением же сумерек он вновь забирался в свою темную будку, где занимался или починкой сапог, или же изготовлением какого-нибудь особенно забористого нюхательного табака, на который предьявлялся большой спрос со стороны пожилых слуг из соседних домов.

Жизнь текла тихо и спокойно, по крайней мере на посторонний взгляд, в этом Сен-Жерменском предместье Москвы. Утром никого нельзя было встретить на улицах. В полдень появлялись дети, отправлявшиеся под надзором гувернеров-французов или нянек-немок на прогулку по занесенным снегом бульварам. Попозже можно было видеть барынь в парных санях с лакеем на запятках, а то в старомодных – громадных и просторных, на высоких, всяких рессорах – каретах, запряженных четверкой, с форейтором впереди и двумя лакеями на запятках. Вечером большинство домов было ярко освещено; а так как ставни не запирались, то прохожие могли любоваться играющими в карты или же танцующими. В те дни «идеи» еще не были в ходу: еще не пришла та пора, когда в каждом из этих домов началась борьба между «отцами и детьми», борьба, которая заканчивалась или семейной драмой, или ночным посещением жандармов. Пятьдесят лет назад никто не думал ни о чем подобном. Все было тихо и спокойно, по крайней мере на поверхности.

В этой Старой Конюшенной родился я в 1842 году; здесь прошли первые пятнадцать лет моей жизни. Отец продал дом, в котором родился я и где умерла наша мать, и купил другой; потом продал и этот, и мы несколько зим прожили в наемных домах, покуда отец не нашел третий, по своему вкусу, в нескольких шагах от той самой церкви, в которой его крестили и отпевали его мать.

И все это было в Старой Конюшенной. Мы оставляли ее только, чтобы проводить лето в нашей деревне.

## Глава II

### Смерть матери

Высокая, просторная угловая комната в нашем доме. В ней – белая постель, на которой лежит мать. Наши детские креслица и столики пододвинуты близко к кровати. Красиво накрытые столики уставлены конфетами и хорошенькими стеклянными баночками с желе, и в эту комнату нас, детей, ввели в необычное время – таковы мои первые, смутные воспоминания. Наша мать умирала от чахотки. Ей было всего тридцать пять лет. Прежде чем покинуть нас навсегда, она пожелала видеть нас возле себя, ласкать нас, быть на мгновение счастливой нашими радостями; она придумала это маленькое угощение у своей постели, с которой уже не могла более подняться. Я припоминаю ее бледное, исхудалое лицо, ее большие, темно-карие глаза. Она глядит на нас и ласково, любовно приглашает нас есть, предлагает забраться на постель, затем вдруг заливается слезами и начинает кашлять. Нас уводят.

Немного времени спустя нас, детей, то есть меня и брата Александра, перевели из большого дома в маленький флигель во дворе. Апрельское солнце заливает своими лучами комнатку, но немка-бонна мадам Бурман и няня Ульяна велят нам ложиться спать. Лица их мокры от слез. Они шьют нам черные рубашечки с широкими белыми оторочками. Нам не спится. Неизвестность пугает нас; мы прислушиваемся к сдержанному разговору нянек. Они говорят что-то такое о нашей матери, чего мы понять не можем. Мы вскакиваем наконец и спрашиваем: «Где мама? Где мама?» Обе женщины начинают плакать навзрыд, гладят наши кудрявые головки, зовут нас «бедными сиротами». Ульяна не может скрывать больше и говорит «Ваша мама улетела туда, на небо, к ангелам».

– Как на небо? Почему? – Наше детское воображение напрасно старается ответить на эти вопросы.

Это было в апреле 1846 года. Мне было всего три с половиной года, а брату Саше еще не минуло пяти. Я не знаю, где были тогда старший брат Николай и сестра Елена: по всей вероятности, уже уехали учиться. Николаю шел двенадцатый год, а Лене – одиннадцатый. Они всегда держались вместе, и мы очень мало знали их. Таким образом, мы с Александром остались во флигеле на попечении мадам Бурман и Ульяны. Добрая старая немка, не имевшая ни своего угла, ни души родных, заменила нам мать. Она воспитала нас как могла: от времени до времени она покупала нам простые игрушки, закармливала коврижками, которыми торговал заходивший иногда старый немец, по всей вероятности такой же одинокий бобыль, как и она сама. Мы редко видели отца. Два следующих года прошли, не оставив никакого впечатления в моей памяти.

## Глава III

### Род Кропоткиных. – Отец. – Мать

Отец мой очень гордился своим родом и с необыкновенной торжественностью указывал на пергамент, висевший на стене в кабинете. В пергаменте, украшенном нашим гербом (гербом Смоленского княжества), покрытом горностаевой мантией, увенчанной шапкой Мономаха, свидетельствовалось и скреплялось департаментом Герольдии, что род наш ведет начало от внука Ростислава Мстиславича Удалого, и что наши предки были великими князьями Смоленскими.

– Я за этот пергамент заплатил триста рублей, – говорил нам отец.

Как большинство людей его поколения, ин не был особенно силен в русской истории и ценил пергамент главным образом по стоимости его, а не по историческим воспоминаниям.

Наш род действительно очень древний, но подобно большинству родов, ведущих свое происхождение от Рюрика, он был оттеснен, когда кончился удельный период и вступили на престол Романовы, начавшие объединять Россию. Но хотя род наш и ведется издавека, однако ничем он не отличился в истории. Встретил я где-то у Соловьева в его «Истории», что некий Иван Кропоткин воеводствовал в Нарве и чуть ли не был бит батогами при Грозном, другой Кропоткин ходил с Тушинским вором, то есть с восставшей голытьбой, против московского боярства, за что, должно быть, род Кропоткиных и попал в опалу у Романовых и их бояр, так что при Алексее Михайловиче один из Кропоткиных упоминается только потому, что учинил какое-то «буйство на царском крыльце», где по утрам собирались всякие просители мест. В последнее время никто из Кропоткиных, по-видимому, не питал особенной склонности к государственной службе. Мой прадед и дед сперва были военными, но вышли в отставку совсем молодыми и поспешили удалиться в свои родовые поместья. Нужно сказать, впрочем, что одно из этих поместий, Урусове, находящееся в Рязанской губернии и расположенное на холме, среди роскошных полей, прельстило бы хоть кого красотой тенистых лесов, бесконечными лугами и извилистой речкой. Мой дед вышел в отставку поручиком, удалился в Урусове, где занялся хозяйством и стал покупать именья в соседних губерниях.

По всей вероятности, и наше поколение сделало бы то же самое, но наш дед женился на княжне Гагариной, принадлежавшей совсем к другому роду. Ее брат был известен как страстный любитель сцены. Он завел свой собственный театр и, к ужасу всей родни, женился даже на крепостной, на великой артистке Семеновой, родоначальнице реальной драматической школы в России. Без сомнения, и по характеру Семенова была одной из наиболее привлекательных личностей театрального мира. К ужасу «всей Москвы», Семенова и после замужества продолжала появляться на сцене.

Я не знаю, обладала ли моя бабушка теми же артистическими и литературными вкусами, как ее брат. Я помню ее, когда она уже была разбита параличом и могла говорить только шепотом. Не подлежит, однако, сомнению, что следующее поколение нашей семьи проявило склонность к литературе. Брат отца Дмитрий Петрович Кропоткин уже пописывал стихи, и некоторые из его стихотворений даже вошли в смирдинское издание «Сто русских литераторов». Свои стихи дядя издал даже отдельной книжкой – факт, о котором мой отец всегда стыдился даже упомянуть. Мои двоюродные братья, мой брат и я сам в большей или меньшей степени принимали участие в литературе нашего времени.

Отец мой был типичный николаевский офицер. Воспитывался он в школе гвардейских подпрапорщиков, попал затем офицером в Семеновский полк как раз в самый первый год царствования Николая и пошел обычной дорогой гвардейского офицера. Через два года

вспыхнула турецкая война, и отец попал на войну со своим крепостным слугой Фролом. Попал он на войну не потому, чтоб он был наделен особенным боевым духом или особенно любил походную жизнь; я сомневаюсь даже, чтоб он провел хотя бы одну ночь у бивачного огня или же участвовал хотя бы в одном сражении, но при Николае это имело второстепенное значение. Настоящим военным в то время был тот, кто обожал мундир и презирал штатское платье, чьи солдаты бывали вымуштрованы так, что могли выделывать почти невероятные штуки ногами и ружьями (одна из знаменитых штук того времени была, например, разломать приклад, беря на караул), кто на параде мог показать такой же правильный и неподвижный ряд солдат, как будто то были не живые, а игрушечные солдатики.

– Очень хорошо, – сказал раз великий князь Михаил, после того как полчаса заставил простоять полк с ружьем на карауле, – только дышат!

Идеалом моего отца, конечно, было возможно больше походить на военного того времени.

Действительно, как я уже сказал, он принимал участие в 1828 году в войне с Турцией, но устроился так, что все время пробыл в штабах. И если мы, дети, воспользовавшись моментом, когда отец был в особенно хорошем расположении духа, просили его рассказать нам про войну, он мог сообщить нам лишь то, как на него и на его верного слугу Фрола в то время, когда они проезжали одну деревню, напали десятки разъяренных собак. Отцу и Фролу пришлось пустить в ход сабли, чтобы отбиться от голодных животных. Без сомнения, нам больше бы хотелось, чтобы то был отряд турок, но мы мирились и с собаками; но когда после долгих приставаний нам удалось заставить отца рассказать, за что он получил Анну с мечами и золотую саблю, тут уж мы были совсем разочарованы. История была до крайности прозаична. Штабные офицеры квартировали в турецкой деревне, когда в ней вспыхнул пожар. В одно мгновение огонь охватил дома, и в одном из них остался ребенок. Мать рыдала в отчаянии. Фрол, сопровождавший всегда отца, бросился в огонь и спас ребенка. Главнокомандующий тут же наградил отца крестом за храбрость.

– Но, папаша, – восклицаем мы, – ведь это Фрол спас ребенка!

– Так что ж такое, – отвечал отец наивнейшим образом – Разве он не мой крепостной? Ведь это все равно.

Наш отец принимал участие в войне против поляков во время революции 1831 года. В Варшаве он познакомился с младшей дочерью корпусного командира генерала Сулимы и влюбился в нее. Свадьбу отпраздновали очень торжественно в Лазенковском дворце. Посаженым отцом со стороны невесты был Паскевич.

– Но наша мать, – прибавлял всегда отец, – не принесла мне никакого приданого. Старый Сулима, ваш дедушка, мне золотые горы насулил по службе, а вместо того скоро сам поехал в Сибирь. Так я и остался ни с чем.

То была чистая правда. Отец матери Николай Семенович Сулима совсем не умел себе сделать карьеру и нажить состояние. Должно быть, в его жилах было слишком много крови запорожцев, которые умели сражаться с отлично вооруженными храбрыми поляками и с втрое более сильными турецкими полчищами, но не умели уберечься от тенет московской дипломатии. Известно, что после страшного восстания 1648 года, которое было началом конца Польской республики, и кровавой войны с поляками казаки подпали под иго русских царей и потеряли все свои вольности. Один из Сулима был захвачен тогда поляками и замучен до смерти в Варшаве; но остальные полковники такого же закала дрались еще более упорно, и Польша потеряла Малороссию.

Что касается моего деда, то в двенадцатом году он во главе кирасирского полка сумел врубиться в каре французов, несмотря на щетину штыков, и, оставленный как убитый на поле сражения, сумел оправиться, отделавшись глубоким шрамом на голове; но стать лакеем у всемогущего Аракчеева он не захотел, и его отправили в своего рода почетную ссылку –

вначале генерал-губернатором в Западную, а потом в Восточную Сибирь. В то время такой пост считался более прибыльным, чем золотой прииск; но мой дед возвратился из Сибири таким же небогатым человеком, каким отправился туда. Он оставил своим трем сыновьям и трем дочерям лишь маленькое наследство. Когда я в 1862 году поехал в Сибирь, то часто слышал его имя, произносившееся с большим уважением. Чудовищное воровство, царившее тогда в Сибири, с которым мой дед был не в силах бороться, приводило его в отчаяние.

Не знаю уже, где и как отец служил после участия в войне против поляков во время революции 1831 года, знаю только, что он всегда жил в Москве, где страшно играл в карты и при жизни матери, и особенно после ее смерти. Он всегда проигрывал. Как только игра затянется попозже, он, бывало, вечно полуспит за карточным столом и все проигрывает. Даже под старость за ним осталась эта страсть, хотя наша мачеха всячески отвлекала его от карточной игры. В Москве это ей еще удавалось, но когда он поедет зимою продавать хлеб в тамбовское имение, продаст его и возвращается назад через Тамбов, то целая шайка тамошних помещиков и шулеров там уже ждет его и беспощадно обыгрывает.

– Славные были времена, – говорил мне как-то в подпитии один из этих тамбовских карточных героев, – как мы это с вашим папашенькой состязались. Бывало продаст хлеб, приедет да так все денежки тут и оставит. Много пользовались его добротой, особенно как он сидит и дремлет за картами.

Помнится мне после смерти нашей матери какая-то свечка с большим нагорелым обвислым фитилем, которую в девичьей таинственно показывали друг другу. Отец в этот вечер страшно проигрался в карты. Играли на мелок, и к концу игры на него насчитали 35 000 рублей – громадную сумму по тогдашнему времени. От него потребовали либо немедленной уплаты, либо векселя. Он уперся, не хотел давать вексель, но его принудили. «Заперли двери на ключ и приступили ко мне с пистолетами, я и подписал», – рассказывал он мне как-то в минуту откровенности. Подписавши вексель, он вернулся домой, зажег свечу в своем кабинете на письменном столе и уселся в свое неизменное кресло у стола. Под утро он заснул, а свеча все продолжала гореть; обгоревший фитиль упал на стол, и бумаги на столе загорелись. Чуть ли не после этого проигрыша он, кажется, пытался покончить с жизнью, но его верный Фрол помешал этому, за что и был пожалован в дворецкие и стал называться с тех пор Фролом Фадеичем.

Любил ли отец нашу мать – не знаю. Если и любил, то по-своему. Знаю только, что она не была счастлива с ним, и в ее дневниках, которые она вела в Германии, когда уже с чахоткою в груди ездила лечиться на воды, эта скорбь выливалась грустными строками. Мать моя, без сомнения, для своего времени была замечательная женщина. Много лет спустя после ее смерти я в углу, в кладовой, в нашем деревенском доме нашел много бумаг, написанных ее твердым и красивым почерком. То были дневники, в которых она описывала красоту природы в Германии на водах и говорила о своих печалях и о жажде счастья. Тут были также тетради запрещенных русских стихотворений, между прочим «Думы» Рылеева. В других тетрадях были ноты, французские драмы, стихи Ламартина, поэмы Байрона. Она любила музыку и, кажется, хорошо понимала ее. Нашел я также много акварелей, рисованных моей матерью. Когда отец задумал строить церковь в Петровском, мать писала для нее иконы: одну из них, Алексея божьего человека, крестьяне указывали мне с любовью, когда я был в Петровском.

Высокая, стройная, с массой каштановых волос, с темно-кариими глазами, с маленьким ртом, она, как живая, глядит с портрета, написанного с любовью масляными красками хорошим художником. Она была всегда весела, подчас беззаботна и очень любила танцы. Никольские крестьянки часто рассказывали нам, как, бывало, любовалась она с балкона на их хороводы, а потом не утерпит и сама присоединится к ним. Она была артистической нату-

рой. На балу моя мать схватила простуду, которая кончилась воспалением легких и довела ее до могилы.

Все знавшие ее любили ее. Слуги боготворили ее память. Ради нее мадам Бурман взялась заботиться о нас. В память ее Ульяна так любила нас. Когда она чесала нас или крестила перед сном, она часто говаривала: «Бедные сиротки! Теперь ваша мамаша смотрит на вас с небес и плачет по вас».

Все мое детство перевито воспоминаниями о ней. Как часто где-нибудь в темном коридоре рука дворового ласково касалась меня или брата Александра. Как часто крестьянка, встретив нас в поле, спрашивала: «Вырастите ли вы такими добрыми, какой была ваша мать? Она нас жалела, а вы будете жалеть?»

«Нас» означало, конечно, крепостных. Не знаю, что стало бы с нами, если бы мы не нашли в нашем доме среди дворовых ту атмосферу любви, которой должны быть окружены дети. Мы были детьми нашей матери; мы были похожи на нее; и в силу этого крепостные осыпали нас заботами, подчас, как видно будет дальше в крайне трогательной форме. Мы не знали матери. Она рано покинула нас, но память о ней прошла через все наше детство и согрела его. Ее не было, но память о ней носилась в нашем доме, и, когда я теперь оглядываюсь на свое детство, я вижу, что я ей обязан теми лучшими искорками, которые запали в мое ребяческое сердце.

Люди жаждут бессмертия, но они часто упускают из виду тот факт, что память о действительно добрых людях живет вечно. Она запечатлевается на следующем поколении и передается снова детям. Неужели им мало такого бессмертия?

## Глава IV

### **Мадам Бурман. – Ульяна. – Пулэн. Изучение французского языка и древней истории. – Воскресные развлечения. – Страсть к театру**

Два года после смерти матери отец мой женился во второй раз. Он уже, было, высмотрел красивую невесту из богатой семьи, когда судьба его решилась иначе. Раз утром, когда отец сидел еще в халате, вбежали перепуганные слуги и возвестили о прибытии генерала Тимофеева, начальника шестого армейского корпуса, в котором служил отец. Любимец Николая I был ужасный человек. За ошибку на параде он мог отдать приказ заporоть солдата до полусмерти. Он мог разжаловать офицера и сослать в Сибирь, если бы встретил его на улице с расстегнутыми крючками высокого, тугого воротника. У Николая слово генерала Тимофеева значило все. В это утро генерал, который до тех пор никогда не бывал у нас, явился самолично, чтобы посвятить отцу племянницу жены девицу Елизавету Марковну Карандино, одну из дочерей адмирала Черноморского флота, – говорят, очень красивую тогда девицу, с правильным греческим профилем. Отец согласился, и вторая свадьба, как и первая, была отпразднована с большою торжественностью.

– Вы, молодые, ничего не понимаете в этих делах, заканчивал всегда отец, когда он впоследствии с непередаваемым тонким юмором рассказывал мне эту историю. – Знаешь ли ты, что в то время значило «корпусный»? А вдруг сам он, одноглазый черт, приехал сватом. Конечно, приданого было всего большой сундук, набитый бабьими тряпками, да еще сидит на нем крепостная девка Марфа, черная, как цыганка.

Я решительно ничего не помню об этом событии. Припоминается лишь большая гостиная в богато убранном доме, а в этой гостиной молодая привлекательная дама, с слишком острыми южными глазами, заигрывает с нами, повторяя: «Видите, какая веселая мамаша будет у вас!» На что Саша и я, насупившись, отвечали: «Наша мама улетела на небо!» Мы с недоверчивостью относились к такой слишком большой живости.

До свадьбы отца мы жили во флигеле нашего дома под надзором мадам Бурман. Но как только свадьба была сыграна – тоже в какой-то аристократической церкви и с «корпусным» за посаженного отца, – все в доме переменилось, и для нас началась новая жизнь. Дом продали и купили другой, который омеблировали совершенно заново. Исчезло все, что могло бы напомнить мать: ее портреты, рисунки, вышиванье. Напрасно молила мадам Бурман оставить ее в доме и обещала посвятить себя всецело ребенку, которого ожидала мачеха, ее рассчитали.

– Не хочу иметь у себя никого из дома Сулимы! говаривала мачеха. Она порвала все связи с нашими дядями, тетками и бабушкой. Ульяну назначили ключницей и выдали за Фрола, которого сделали дворецким. Старший брат, Коля, учился в кадетском корпусе в Москве и жил там. Он мог бы приезжать домой каждую субботу, но его ухитрялись брать только на долгие праздники – на рождество и на пасху, а лето он проводил в лагерях. Старшая сестра Лена, которая была всего только годом моложе Коли, но на шесть лет старше Саши, была в институте и по тогдашним правилам могла быть отпущена домой только в самом экстренном случае, например по случаю смерти бабушки, и то всего на несколько часов в сопровождении классной дамы.

Так мы поэтому и остались вдвоем: брат Саша, который был всего на шестнадцать месяцев старше меня, и я. С ним мы выросли, с ним мы сроднились. С ним и после мы были вместе до тех пор, пока судьба не разбросала нас по тюрьмам и ссылкам. Чтобы учить нас, приставили дорогого француза-гувернера мосье Пулэна и наняли задешево русского сту-

дента Н. П. Смирнова. Во многих домах в Москве были тогда французы-гувернеры, обломки наполеоновской великой армии. Пулэн тоже принадлежал к ней и только что закончил воспитание младшего сына романиста Загоскина. В Старой Конюшенной Сережа Загоскин считался таким благовоспитанным молодым человеком, что отец мой, не колебаясь, пригласил Пулэна за высокую по тому времени плату в 600 рублей в год.

Пулэн явился со своей охотничьей собакой Трезором, наполеоновским кофейником, французскими учебниками и стал править нами и крепостным Матвеем, которого приставили нам в прислуги. Его план воспитания был очень прост. Разбудив нас, он варил себе кофе, который пил в своей комнате. В то время как мы приготовляли уроки, он очень тщательно занимался своим туалетом: зачесывал свои седые волосы так, чтобы скрыть расплывшуюся плешь, надевал фрак, прыскал себя и вытирал одеколоном, а затем вел нас вниз поздороваться с родителями. Отца и маму обыкновенно заставляли за утренним кофе. Подойдя к ним, мы повторяли официальным тоном:

– Bonjour, mon cher papa.

– Bonjour, ma chère maman.

Затем мы целовали руки.

Мосье Пулэн выделял очень сложный элегантный пируэт, произнося:

– Bonjour, monsieur le prince.

– Bonjour, madame la princesse.

Выполнив все это, мы немедленно уходили к себе наверх. Эта церемония повторялась каждое утро.

Затем начиналось наше учение. Мосье Пулэн вместо фрака облачался в халат, надевал на голову кожаную шапочку, погружался в кресло и говорил: «Скажите урок».

Мы сказывали «наизусть» от одного места, отмеченного нам ногтем, до другого. Мосье Пулэн принес с собою памятную не одному поколению русских мальчиков и девочек грамматику Ноэля и Шапсаля, книжку французских вокабул, всемирную историю в одном томике и всеобщую географию, тоже в одной книжке. Мы должны были вызубрить грамматику, вокабулы, историю и географию. С грамматикой, начинавшейся знаменитой фразой: «Что такое грамматика? Искусство правильно читать и писать», с грамматикой, говорю, дело обходилось благополучно. Но к несчастью, история начиналась с предисловия, в котором перечислялись все выгоды, проистекающие из знания этой науки. С первыми предложениями дело шло довольно гладко. Мы твердили: «Государь находит в истории примеры великодушия, чтоб следовать им при управлении своим народом; полководец изучает по ней благородное искусство ратного дела...» Но как только дело доходило до юриспруденции, все портилось. «Юрисконсульт находит в истории...», но что именно находит он, мы так и не могли узнать. Трудное слово «юрисконсульт» портило все. Как только мы добирались до него, мы останавливались.

– На колени, gros rouff (это ко мне), – восклицает Пулэн. – На колени, grand dada (это по адресу брата). – И мы становились на колени и обливались слезами, тщетно стараясь выучить, что находит юрисконсульт в истории.

Это предисловие дорого нам обошлось! Мы уже выучили про римлян. Мы бросали, «как Брен», палки на чашки весов, когда Ульяна отвешивала рис. Подражая Курцию, мы – для спасения отчизны – прыгали в бездну со стола; но мосье Пулэн все еще время от времени возвращал нас к предисловию и ставил на колени все из-за того же юрисконсульта. Нужно ли удивляться после этого, что и я, и мой брат возымали непреодолимое отвращение к юриспруденции!

Не знаю, что стало бы с географией, если бы в книжке мосье Пулэна тоже было предисловие. К счастью, первые двадцать страниц были вырваны (я думаю, эту великую услугу

оказал нам Сережа Загоскин). В силу этого наши уроки начались прямо с двадцать первой страницы, со слов: «Из рек, орошающих Францию...»

Должен сознаться, что дело не всегда кончалось наказанием – на колени. В классной имелась также розга, к которой и прибегал мосье Пулэн, когда на прогресс в предисловии или же в диалогах о добродетели и благопристойности не было больше надежды. В таких случаях мосье Пулэн доставал розгу с высокого шкафа, схватывал которого-нибудь из нас, расстегивал штанишки и, захватив голову под свою левую руку, начинал хлестать нас этой розгой. Мы, конечно, стремились ускользнуть из-под его ударов, и тогда в комнате начинался отчаянный вальс под мерный свист его розги.

Эти вальсы просто в отчаяние приводили сестру Лену, когда она вышла из Екатерининского института и была поселена внизу, в комнате под нами. Так что она раз не вытерпела и, услышав наш плач, стремительно вбежала в слезах в кабинет к отцу. Она горько стала упрекать его за то, что он отдал нас мачехе, которая сдала нас на произвол «отставному французскому барабанщику».

– Конечно, – кричала она в слезах, – здесь некому заступиться за них; но я не могу видеть, как барабанщик обращается с моими братьями.

Отец был захвачен врасплох и смешался. Он сначала стал бранить Лену, но кончил тем, что похвалил за любовь к братьям. После этого вальс стал повторяться гораздо реже, но розга долгое время все еще хранилась в большом шкафу, хотя Пулэн ограничивался только тем, что иногда снимал ее и, поднося к нашим носам, выкрикивал: «Нюк! нюк!» (нюхай). Вскоре розга сохранялась лишь для того, чтобы внушить Трезорке правила благопристойности.

Покончив с тяжелыми учительскими обязанностями, мосье Пулэн мгновенно преобразился; пред нами был уже не свирепый педагог, а веселый товарищ. После завтрака он водил нас на прогулку, и здесь не было конца его рассказам. Мы болтали, как птички. Хотя мы не забирались с Пулэном дальше первых страниц синтаксиса, но мы скоро научились «правильно говорить». Мы стали думать по-французски. Когда же он продиктовал нам полкниги о мифологии (он исправлял ошибки по книге, никогда не пытаясь даже объяснить, почему слово должно быть писано так, а не иначе), то мы постигли также, как «правильно писать» по-французски.

После обеда мы занимались с учителем русского языка, студентом юридического факультета Московского университета. Он обучал всем «русским» предметам: грамматике, арифметике и т. п. В те годы серьезное учение еще не начиналось. Одновременно он диктовал нам ежедневно по странице из истории, и таким образом мы на практике быстро научились совершенно правильно писать по-русски.

Наше лучшее время бывало по воскресеньям, когда все наши, кроме детей, отправлялись на обед к генеральше Тимофеевой. Порой случалось также, что отпуск получали в этот день Пулэн и Николай Павлович Смирнов. В таком случае мы оставались на попечении Ульяны. Наскоро пообедав, мы отправлялись в парадный зал, куда скоро являлась и молодежь из горничных. Затевались всевозможные игры: в жмурки, в коршуна и т. д. Затем мастер на все руки Тихон являлся со скрипкой. Начиналась пляска: не скучные, мерные танцы под управлением танцмейстера француза «на резиновых ножках» (танцы, конечно, входили в программу нашего воспитания), а живой танец – не урок. Пар двадцать кружилось в разные стороны, но это было лишь вступлением к еще более оживленному казачку. Тихон тогда вручал скрипку одному из стариков и начинал вывертывать ногами такие мудреные фигуры, что в дверях показывались повара и даже кучера, желавшие поглядеть на любезный их сердцу танец.

В девять часов за нашими посылалась большая карета. Тихон, вооружившись щеткой, ползал по паркету, чтобы восстановить опять его девственный блеск. В доме воцарялся образцовый порядок. И если бы нас с братом на другой день подвергли самому строгому

опросу, мы не обмолвились бы ни словом о развлечениях предыдущего вечера. Мы ни за что не выдали бы никого из слуг точно так же, как никто из них не выдал бы нас.

Раз, в воскресенье, мы с братом играли одни в большой зале и набежали на подставку, поддерживавшую дорогую лампу. Лампа разбилась вдребезги. Немедленно же дворовые собрали совет. Никто не упрекал нас. Решено было, что на другой день рано утром Тихон на свой страх и ответственность выберется потихоньку, побежит на Кузнецкий мост и там купит такую же лампу. Она стоила пятнадцать рублей – для дворовых громадная сумма. Но лампу купили, а нас никто никогда не попрекнул даже словом.

Когда я думаю теперь о прошлом и в моей памяти восстают все эти сцены, я припоминаю также, что во время игр мы никогда не слышали грубых слов; не видали мы также в танцах ничего такого, чем теперь угощают даже детей в театре. В людской, промеж себя, дворовые, конечно, употребляли неприличные выражения. Но мы были дети, ее дети, и это охраняло нас от всего худого.

В те времена детей не заваливали такой массой игрушек, как теперь. Собственно говоря, их у нас почти вовсе не имелось, и мы вынуждены были прибегать к нашей собственной изобретательности. С другой стороны, мы с братом рано приобрели вкус к театру. Впечатление, произведенное масленичными балаганами, с их представлениями сражений и разбойников, продолжалось недолго: мы сами предостаточно играли в казаков и разбойников. Но в Москву прибыла балетная звезда первой величины Фанни Эльслер, и мы увидели ее. Когда отец покупал билет в театр, то брал всегда лучшую ложу, не жалея денег; но зато он хотел, чтобы за эти деньги наслаждалась вся семья. Взяли и меня, несмотря на то, что я был тогда очень мал. Фанни Эльслер произвела на меня такое глубокое впечатление грациозностью, воздушностью и изяществом всякого движения, что с тех пор танцы, относящиеся скорее к области гимнастических упражнений, чем искусства, никогда меня не интересовали.

Нечего и говорить, что «Гитану, испанскую цыганку», балет, в котором Эльслер участвовала, мы решили поставить дома, то есть содержание балета, а не танцы. У нас была готовая сцена: дверь из спальни в классную закрывалась занавесью. Несколько стульев полукругом и кресло для мосье Пулэна составили зрительный зал и царскую ложу. Публику мы легко собрали: тут были Ульяна, русский учитель и две-три горничные. Мы решили во что бы то ни стало поставить две сцены: ту, в которой цыгане привозят в табор маленькую Гитану в тачке, и ту, где Гитана в первый раз появляется на сцене, спускается с пригорка и переходит по мосту через ручей, в котором отражается ее образ. Зрители тогда стали бешено аплодировать, и мы решили, что рукоплескания были вызваны отражением в ручье.

Для роли Гитаны мы выбрали одну из самых маленьких девочек в девичьей. Ее оборванное пестрядинное платье не составляло препятствия. Перевернутый стул вполне заменил тачку. Но ручей! Из двух кресел и гладильной доски портного Андрея мы соорудили мост, а из куса синей китайки – ручей. Для получения отражения мы пустили в ход маленькое круглое зеркало, перед которым брился Пулэн; но, сколько мы ни старались, отражения во весь рост не получалось. После многих неудачных попыток мы должны были отказаться от опытов с зеркалом. Но мы упросили Ульяну, чтобы она поступила так, как будто бы видела отражение в ручье, и аплодировала бы громко. Таким образом, в конце концов мы сами начали верить, что, быть может, что-нибудь и видно в самом деле.

Расиновская «Федра» – или по крайней мере последний акт трагедии сходилась тоже очень не дурно, а именно Саша прекрасно декламировал звучные стихи:

«*A peine nous sortions des portes de Trezene*».

А я сидел совершенно неподвижно во все время трагического монолога, возвещавшего мне о смерти сына, до тех пор, покуда, согласно книжке, я должен был подать реплику: «*Oh, dieux!*».

Но что бы мы ни играли, все наши представления неизменно заканчивались адом. Мы тушили все свечи, кроме одной, которую ставили за прозрачный экран, намазанный суриком, что должно было изображать пламя. Мы с братом затем прятались и принимались отчаянно выть, как осужденные грешники. Ульяна не любила поминать черта к ночи и пугалась; но я задаю себе вопрос, не содействовало ли это слишком конкретное представление ада – при помощи сальной свечки и листа бумаги – тому, что мы с братом уже в раннем возрасте освободились от страха геенны огненной. Наше представление было слишком реально, чтобы не пробудить скептицизма.

Вероятно, я был еще очень мал, когда увидел знаменитых московских актеров Щепкина, Садовского и Шумского в «Ревизоре» и в «Свадьбе Кречинского». Тем не менее я живо помню не только все выдающиеся сцены в обеих комедиях, но даже интонацию наших великих актеров реалистической школы: их игра так сильно запечатлелась во мне, что, когда я впоследствии видел те же пьесы в Петербурге в исполнении актеров французской декламаторской школы, я не мог выносить их. Я сравнивал этих актеров с Щепкиным и Садовским, установившими мой вкус в драматическом искусстве. Это наводит меня, кстати, на мысль, что родители, желающие воспитать в детях художественный вкус, должны их брать изредка в театр смотреть хороших актеров в хороших пьесах, а не так называемые детские пантомимы.

## Глава V

### Бал в честь Николая I. – Назначение в пажи

На восьмом году в моей жизни произошло событие, определившее, как пойдет мое дальнейшее воспитание. Я не знаю в точности по какому случаю, но полагаю, что по поводу двадцатипятилетия со дня вступления на престол Николая I в Москве подготовлялся грандиозный бал. Двор должен был прибыть в старую столицу, и московское дворянство решило ознаменовать событие костюмированным балом, в котором детям предстояло принять видное участие. Решено было, что приветствовать императора должны все различные народности, входящие в состав империи. Как у нас, так и у соседей шли большие приготовления. Для нашей мачехи был приготовлен замечательный русский костюм. Так как отец был военным, то, разумеется, он должен был явиться в мундире; но те из наших родственников, которые не служили, не менее дам были заняты приготовлением русских, греческих, кавказских, монгольских и других костюмов. Когда московское дворянство дает бал государю, бал должен отличаться необыкновенной пышностью. Нас с братом считали слишком молодыми, чтобы принять участие в торжестве.

Но в конце концов я попал-таки на бал. Наша мать была очень дружна с Назимовой, женой генерала, который был впоследствии виленским генерал-губернатором. Назимовой, очень красивой женщине, предстояло явиться в сопровождении восьмилетнего сына, в великолепном костюме персидской царицы. Соответственно и сын должен был быть в очень богатом костюме, перехваченном поясом, украшенным драгоценными камнями. Но мальчик заболел как раз перед балом, и Назимова решила, что один из сыновей ее лучшего друга лучше всего заменит больного. Нас с Сашей позвали к Назимовой, чтобы примерить костюм. Он оказался короток для Александра, который был выше меня ростом; но мне костюм пришелся как раз впору. Решено было, что изображать персидского царевича буду я.

Громадный зал московского дворянского собрания был наполнен гостями. Каждому из детей вручили жезл с гербом одной из шестидесяти губерний Российской империи. На моем жезле значился орел, парящий над голубым морем, что, как я узнал впоследствии, изображало герб Астраханской губернии. Нас выстроили в конце громадного зала; затем мы попарно направились к возвышению, на котором находились император и его семья. Когда мы подходили, то расходились направо и налево и выстроились таким образом в один ряд перед возвышением. Тогда по данному нам приказанию мы склонили все жезлы с гербами перед Николаем... Апофеоз самодержавия вышел очень эффектным. Николай был в восторге. Все провинции преклонялись перед верховным правителем. Затем мы, дети, стали медленно уходить в глубь залы.

Но тут произошло некоторое замешательство; засуетились камергеры в расшитых золотом мундирах, и меня вывели из рядов. Мой дядя князь Гагарин, одетый тунгусом (я не мог наглядеться на его кафтан из тонкой замши, на его лук и на колчан, наполненный стрелами), поднял меня на руки и поставил на платформу перед царем.

Не знаю, потому ли, что я был самый маленький в процессии, или потому, что мое круглое лицо с кудрями казалось особенно потешным под высокой смушковой шапкой, но Николай пожелал видеть меня на платформе. Мне потом сказали, что Николай, любивший всегда казарменные остроты, взял меня за руку, подвел к Марии Александровне (жене наследника), которая тогда ждала третьего ребенка, и по-солдатски сказал ей: «Вот каких молодцов мне нужно!» Эта острота, конечно, заставила Марию Александровну покраснеть. Во всяком случае я очень хорошо помню, как Николай спросил: хочу ли я конфет? На что я ответил, что

хотел бы иметь крендельков, которые нам подавали к чаю в торжественных случаях. Николай подозвал лакея и высыпал полный поднос крендельков в мою высокую шапку.

– Я отвезу их Саше, – сказал я Николаю.

В конце концов фельдфебелеобразный брат Николая Михаил, имевший репутацию остряка, ухитрился-таки заставить меня заплакать.

– Когда ты пай-дитя, тебя гладят вот так, – сказал он и провел своею большою рукою по моему лицу сверху вниз. – Когда же ты шалишь, тебя гладят вот эдак, и он провел рукою вверх, сильно нажимая нос, который и без того проявлял уже наклонности расти кверху. На моих глазах показались слезы, которые я напрасно старался удержать. Дамы, впрочем, заступились за меня. Добрая Мария Александровна взяла меня под свое покровительство. Она усадила меня рядом с собою на высокий с золоченой спинкой бархатный стул. Мне говорили впоследствии, что я скоро заснул, положив голову ей на колени, а она не вставала с места во все время бала. Помню я также, что родные, когда мы дожидались кареты, гладили меня по голове, целовали и говорили: «Петя, ты назначен пажем!», на что я отвечал: «Я не паж, я домой хочу», и очень был озабочен моей шапкой, в которой лежали предназначенные для Саши крендельки.

Не знаю, много ли их досталось Саше, но помню, что он крепко обнял меня, когда ему сказали, что я беспокоился о шапке.

Быть записанным в кандидаты в Пажеский корпус считалось тогда большой милостью. Николай редко ее оказывал московскому дворянству. Отец мой был в восторге и мечтал уже о той блестящей карьере, которую сделает при дворе сын; а мачеха, когда она потом рассказывала про это событие, никогда не забывала прибавить: «А все это потому, что я его благословила перед балом!»

Назимова была в восторге и заказала акварельный портрет, на котором она изображена в персидском костюме и я рядом с ней.

Через год решила судьба Александра. В Петербурге праздновался юбилей Измайловского полка, в котором отец служил в молодости. Раз ночью, когда в доме все спали глубоким сном, у ворот остановилась, гремя колокольчиками, тройка. Выскочил из кибитки фельдъегерь и громко крикнул: «Отпирайте! Приказ от государя императора!..»

Можно легко себе представить, какой ужас нагнало на весь дом это ночное посещение. Отец, дрожа, накинул халат и спустился в кабинет.

«Военный суд, разжалование в солдаты» мерещилось тогда каждому офицеру. То было ужасное время. Оказалось, однако, что Николай просто пожелал иметь имена всех сыновей офицеров, когда-либо служивших в Измайловском полку, чтобы распределить мальчиков по военно-учебным заведениям, если это еще не было сделано. С этой целью и послали из Петербурга в Москву курьера, который днем и ночью стучался в дома всех бывших офицеров Измайловского полка.

Дрожащей рукою отец записал, что его старший сын Николай уже учится в Первомосковском кадетском корпусе, что младший сын Петр – кандидат в Пажеский корпус и что остался лишь средний сын Александр, который еще не поступил в военно-учебное заведение. Через несколько недель пришла бумага, извещавшая отца о «монаршей милости». Александра повелевалось определить в орловский кадетский корпус. Отцу стоило немало хлопот и денег, чтобы добиться позволения определить Александра в московский кадетский корпус. Новая «милость» была оказана только ввиду того, что старший сын уже учится в этом корпусе.

Таким образом, по воле Николая I нам обоим предстояло получить военное воспитание, хотя через несколько лет мы возненавидели военную службу по причине ее нелепости. Но Николай бдительно следил за тем, чтобы все сыновья дворян, кроме хворых, избирали

военную карьеру. Таким образом, к великому утешению отца, мы все трое должны были стать офицерами.

## Глава VI

### Нравы старого барства. – Крепостные слуги. – Типы Старой Конюшенной

В то время богатство помещиков измерялось числом «душ», которыми владел помещик «Души» означали крепостных мужского пола, женщины в счет не шли. Мой отец считался богатым человеком. У него было более 400 душ в трех различных губерниях и еще большие земли, и он жил соответственно своему положению. Это значило, что его дом был открыт для гостей и что отец держал многочисленную дворню. В семье нас было восемь человек, иногда десять или двенадцать, между тем пятьдесят человек прислуги в Москве и около шести десяти в деревне не считалось слишком большим штатом. Тогда казалось непонятным, как можно обойтись без четырех кучеров, смотревших за двенадцатью лошадьми, без трех поваров для господ и кухарок для «людей», без двенадцати лакеев, прислуживавших за столом во время обеда (за каждым обедающим стоял лакей с тарелкой), и без бесчисленных горничных в девичьей.

В то время заветным желанием каждого помещика было, чтобы все необходимое в хозяйстве изготовлялось собственными крепостными людьми. Все это вот для чего. Если кто-нибудь из гостей заметит:

– Как хорошо настроен ваш рояль. Ваш настройщик, вероятно, Шimmelъ?

То помещик гордо отвечал:

– У меня собственный настройщик.

– Что за прекрасное пирожное! – бывало, воскликнет кто-нибудь из гостей, когда к концу обеда появлялось своего рода художественное произведение из мороженого и печений. – Признайтесь, князь, это от Трамбле (модный кондитер того времени).

– Нет, это делал мой собственный кондитер, ученик Трамбле. Я позволил ему сегодня показать свое искусство.

Заветным желанием каждого богатого и знатного помещика было иметь мебель, сбрую, вышивки – словом, все от собственных мастеров. Когда детям дворовых исполнялось десять лет, их отдавали на выучку в модные мастерские. Пять или семь лет они подметали лавку, получали бесчисленные колотушки и состояли главным образом на побегушках. Я должен сказать, что не многие выучивались в совершенстве ремеслу. Портные и сапожники могли шить платье и сапоги только на прислугу; когда же нужно было действительно хорошее пирожное, его заказывали у Трамбле, а наш кондитер в это время играл на барабане в крепостном оркестре. Этот оркестр был другим пунктом тщеславия моего отца. Не то чтобы он сам был большой любитель музыки, но так требовалось для большей важности, а потому почти каждый дворовый помимо своего ремесла состоял еще басом, тромбонистом и кларнетистом в оркестре. Настройщик Макар, он же помощник дворецкого, играл также на флейте. Портной Андрей играл на валторне. Обязанностью же кондитера было вначале бить в барабан, но он так усердствовал, что оглушал всех. Тогда ему купили чудовищную трубу в надежде, что, может быть, легкими он не будет в состоянии производить такой шум, как руками. Но когда и эта надежда не оправдалась, его сдали в солдаты. Что же касается рябого Тихона, то помимо бесчисленных обязанностей в доме в роли ламповщика, полотера или выездного лакея он еще не без пользы помогал в оркестре, сегодня на тромбоне, завтра на контрабасе, а не то и как вторая скрипка.

Две первые скрипки составляли единственное исключение из правила. Они были только скрипками. Отец купил их за большие деньги, с семьями, у сестер (он никогда не

покупал крепостных у посторонних и не продавал людей чужим). И вот по вечерам, когда отец не уезжал в клуб или когда у нас бывали гости, отец приказывал дворецкому «собрать музыку». На наш оркестр был большой спрос, когда соседи, в особенности в деревне, устраивали вечера с танцами. Каждый раз, конечно, в подобных случаях нужно было спросить разрешение отца.

Ничто не доставляло отцу такого удовольствия, как когда к нему обращались с просьбой по поводу оркестра или чего-либо другого: например, определить мальчика на казенный счет в школу или освободить кого-нибудь от наказания, наложенного судом. Хотя отец способен был на взрывы бешенства, но по натуре, без сомнения, он был довольно мягкий человек. И когда к нему обращались за протекцией, он писал десятки писем во все стороны ко всем высокопоставленным лицам, которые могли быть полезны его протекже. В таких случаях его и без того немалая переписка увеличивалась еще полудюжиной специальных писем, написанных в крайне характерном, полуофициальном полушутливом тоне. Каждое письмо, конечно, запечатывалось гербовой печатью отца. Большой квадратный конверт шумел тогда, как детская погремушка, по причине песка, которым густо посыпалось письмо: промокающей бумаги в то время еще не знали. Чем труднее была просьба, тем большую энергию проявлял отец, покуда не добивался просимого для протекже, которого во многих случаях никогда даже в глаза не видал.

Отец мой любил, чтобы у него были гости. Обедали мы в четыре часа, а в семь вся семья собиралась вокруг самовара. В это время мог приходиться всякий принадлежавший к нашему кругу. В особенности не было недостатка в гостях, когда Лена возвратилась из института. Если в окнах, выходящих на улицу, был свет, знакомые знали, что наши дома и что гостям будут рады.

Гости собирались почти каждый вечер. В зале раскрывались ломберные столы. Молодежь же и дамы оставались в гостиной или же собирались возле рояля. После ухода дам картежная игра продолжалась до рассвета, и значительные суммы переходили тогда из рук в руки. Отец мой постоянно проигрывал. Опасной для него, однако, являлась игра не дома, а в английском клубе, где ставки были выше. В особенности опасно было, когда отца звали на партию «с очень почтенными господами» в один из наиболее уважаемых домов в Старой Конюшенной, где большая игра шла всю ночь. В подобных случаях отец проигрывал очень много.

Нередко устраивались танцевальные вечера, не говоря уже о двух обязательных балах каждую зиму. В подобных случаях отец не смотрел на издержки, а устраивал все как можно лучше. В то же время в будничной нашей жизни проявлялась такая скарденность, что, если бы я стал рассказывать подробности, их сочли бы за преувеличение. Об одном претенденте на французский престол, который прославился великолепными охотничьими партиями, говорят, что в его доме даже сальные огарки были на счету. Такая же мелочная экономия во всем практиковалась и в нашем доме, и скупость доходила до того, что мы, дети, когда выросли, возненавидели бережливость и расчет. Впрочем, в Старой Конюшенной такая манера жить заставляла лишь всех относиться еще с большим уважением к отцу.

– Старый князь, – говорили все, – скуповат на домашние расходы, зато уж знает, как следует жить дворянину.

В наших тихих и чистеньких улочках именно такая жизнь уважалась в особенности. Один из наших соседей, генерал Дурново, вел дом на широкую ногу, а между тем ежедневно между бариним и поваром происходили самые комические сцены. После утреннего чая старый генерал, посасывая трубку, сам заказывал обед.

– Ну, братец, – говорил он повару, являвшемуся в малую столовую в белоснежной куртке и колпаке, – сегодня нас будет немного, не более двух-трех гостей. Ты соорудишь суп, знаешь, с какой-нибудь первинкой: с зеленым горошком, фасолью...

- Слушаю-с, ваше превосходительство.
  - Затем, что там хочешь на второе.
  - Слушаю-с, ваше превосходительство.
  - Конечно, спаржа еще дороговата, хотя я видел вчера в лавке такие славные пучки...
  - Точно так, ваше превосходительство, по четыре целковых за пучок.
  - Совершенно верно. Ну, твои жареные цыплята и индейки нам надоели до смерти. Ты приготовь нам что-нибудь новое.
  - Не прикажете ли дичи, ваше превосходительство?
  - Да, да, братец, что-нибудь такое.
- Когда все шесть блюд бывали обсуждены, старый генерал спрашивал:
- Ну а сколько тебе на расходы? Я думаю, три рубля хватит.
  - Десять целковых, ваше превосходительство
  - Не говори глупостей, любезный. Вот тебе три рубля Я знаю, что их за глаза достаточно.
  - Как же так? Четыре целковых за спаржу да два с полтиной за зелень.
  - Ну, слушай, любезный, посовестись. Так и быть, прибавлю еще три четвертака, а ты экономничай.

Торг таким образом продолжался около получаса. Наконец сходились на семи рублях с четвертаком с условием, чтоб обед на другой день стоил бы не больше полутора рублей. Генерал, счастливый тем, что устроил все так выгодно, приказывал закладывать сани и отправиться в модные лавки, откуда возвращался сияющий и привозил жене флакон тонких духов, за который заплатил бешеную цену во французском магазине, а единственен своей дочери он сообщал, что пришлют от мадам такой-то для примерки «очень простенькую», но очень дорогую бархатную мантилью.

Вся наша бесчисленная родня со стороны отца жила точно таким же образом. Если порой проявлялись какие-нибудь новые стремления, они обыкновенно принимали религиозную форму. Так, например, к великому смущению «всей Москвы» один князь Гагарин поступил в орден иезуитов, другой молодой князь пошел в монастырь, а несколько старых дам стали отчаянными святошами.

Бывали и исключения. Один из наших ближних родственников, назову его Мирским, провел молодость в Петербурге, где служил в гвардии. Иметь крепостного портного или мебельщика его не занимало. Дом его был великолепно убран, а платье он носил от лучшего петербургского портного. Он не любил карт и играл лишь с дамами; зато его слабостью была еда, на которую он тратил невероятные деньги.

В особенности развешивался он во время поста и пасхи. Постом он погружался всецело в изобретение тонких рыбных блюд. С этой целью он перерывал лавки в обеих столицах, а из вотчин командировались специальные гонцы к устьям Волги, чтобы доставить оттуда на почтовых (железных дорог тогда еще не было) громадного осетра или какой-нибудь необыкновенный балык. Когда же наступала пасха, его изобретательности не было конца.

Пасха – наиболее чтимый и наиболее веселый праздник в России, праздник весны. Тают громадные сугробы, лежащие всю зиму, и бурные ручьи бегут по улицам. Весна приходит не как тать, крадучись, незаметно, но открыто. Каждый день замечается перемена как в снежных сугробах, так и в наливающихся почках. Ночные морозы лишь слегка замедляют оттепель. В мое время страстная неделя встречалась в Москве необыкновенно торжественно. Толпы народа ходили в церкви, особенно в четверг, послушать те трогательные места Евангелия, в которых говорится о страданиях Христа. На страстной не ели даже рыбы, а наиболее благочестивые вовсе не касались еды в страстную пятницу. Тем более разителен был переход к пасхе.

В субботу все отправлялись ко всенощной. Начало ее, как известно, очень печально. Но в полночь возвещается о воскресении Христовом. Все церкви разом освещаются. С сотен колоколен раздается радостный трезвон колоколов. Начинается всеобщее веселье... Церкви, залитые светом, пестреют нарядными туалетами дам. Даже самая бедная женщина постарается на пасху надеть обновку, и если она шьет себе новое платье только раз в год, то сошьет его, конечно, к этому дню.

Как и тогда, так и теперь пасха является также временем крайней неводержанности в пище. В богатых домах готовятся к этому времени самые вычурные пасхи и куличи, и, как бы беден кто ни был, он должен иметь хотя бы одну пасху и маленький кулич и хотя бы одно красное яйцо, чтобы освятить их в церкви и разговеться.

Большинство начинало есть ночью, после заутрени, непосредственно после того, как освященные куличи приносились из церкви. В богатых же барских домах разговенье откладывалось до воскресенья. К утру накрывался громадный стол и устанавливался всякого рода яствами, и, когда господа выходили в столовую, вся многочисленная дворня вплоть до последней судомойки приходила христосоваться.

Всю пасхальную неделю в зале стоял накрытый стол, и гости приглашались закусить. И в этом случае князь Мирский, бывало, развернется! Даже когда он встречал пасху в Петербурге, гонцы одинаково привозили ему из деревни нарочито приготовленный творог для пасхи, из которого повар мастерил своего рода художественные произведения; а другой нарочный скакал в новгородскую деревню за медвежьим окороком, который специально коптился для княжеского пасхального стола.

Княгиня бывала всю страстную неделю в очень удрученном настроении, посещая с двумя дочерьми самые суровые монастыри, где каждая всенощная длилась по три и по четыре часа, и съедая только кусок черствого хлеба в промежутках между службами и посещением православных, католических и протестантских проповедников. А муж ее в это время каждое утро объезжал знаменитые Милютины лавки, где гастрономы находят деликатесы со всех концов земли. Здесь князь выбирал для пасхального стола все самое дорогое и тонкое. Зато во время пасхальной недели сотни гостей являлись к нему, и их просили «только отведать» ту или другую диковину.

Кончилось тем, что князь ухитрился буквально проесть свое значительное состояние. Его роскошно омеблированный дом и прекрасное имение продали, и на старости лет у князя и княгини ничего не осталось: не было даже своего угла. Они должны были жить у детей.

Так шла жизнь в наших краях, и нечего удивляться поэтому, что после освобождения крестьян почти вся Старая Конюшенная разорилась. Но я забегаю вперед.

## Глава VII

### **Наказы бурмистрам. – Доставка живности. – Переезд в Никольское. Долгие сборы. – Пулэн объясняет подвиги наполеоновской армии. – Военные упражнения – Пробуждение демократического духа. – Наши соседи**

Содержать такую многочисленную дворню, как у нас, было бы накладно, если бы приходилось всю провизию покупать в Москве. Но во время крепостного права все устраивалось очень просто. Когда наступала зима, отец садился за стол и писал: «Бурмистру моему села Никольского Калужской губернии, Мещовского уезда, что на реке Серене, от князя Алексея Петровича Кропоткина, полковника и кавалера,

Приказ

По получению сего, как только установится санный путь, предписывается тебе отправить в мой дом, в город Москву, двадцать пять крестьянских парных подвод, по лошади от двора да по человеку и по дровням от другого; нагрузить столько-то четвертей овса, столько-то пшеницы, столько-то ржи, а также кур, гусей и уток, которые должны быть убиты в эту зиму, хорошо заморожены, хорошо упакованы и препровождены при описи с верными людьми...».

В том же духе шли две страницы до первой точки. Далее шло перечисление наказаний, которые постигнут виновников, если провизия не прибудет вовремя и в хорошем состоянии в дом номер такой-то, на такой-то улице.

Незадолго до рождества двадцать пять крестьянских саней действительно въезжали в ворота и заполняли весь громадный двор.

Как только докладывалось отцу об этом важном событии, он начинал звать громко:

– Фрол! Кирюшка! Егорка! Где вы там? Все раскрадут! Фрол, ступай принимать овес! Ульяна, ступай принимать птицу! Кирюшка, зови княгиню!

Во всем доме начиналось смятение. Слуги метались как угорелые во все стороны, из передней во двор, а из двора опять в переднюю, но главным образом в девичью, чтобы сообщить Никольские новости:

«Паша выходит замуж после рождества. Тетка Анна отдала богу душу» и т. п. Прибывали также и письма из деревни. Вскоре которая-нибудь из горничных уже пробиралась наверх в мою комнату.

– Петенька, вы одни? Учителя нет?

– Нет, он в университете.

– Так ты, пожалуйста, прочитай письмо от матери.

И я принимался читать наивное письмо, которое неизменно начиналось словами: «Родители шлют тебе свое благословение, навеки нерушимое». Затем следовали уже новости: «Тетка Афросинья больна, ноют у ней все кости. Братан еще не женился, но уповаем, женится на красную горку. Тетки Степаниды корова пала на всех святых». За новостями шли две страницы поклонов: «Братец Павел посылает поклон, и сестрицы Марья и Дарья шлют поклон, и еще низкий поклон от дяди Митрия» и т. д. Несмотря на монотонность перечисления, каждое имя вызывало какое-нибудь замечание: «Значит, еще жива, бедная! Вот уже девять лет, как она лежит пластом». Или: «Ишь, не забыл меня. Значит, вернулся к рождеству. Такой славный парень. Вы напишете мне письмецо? Тогда и его не забыть бы». Я обещал, конечно, и в должное время писал письмо точно в таком же роде.

Когда сани бывали разгружены, передняя наполнялась крестьянами. Они стояли в армяках поверх полушубков и дожидались, покуда отец позовет их в кабинет, чтобы расспросить о том, каков снег выпал и каковы виды на урожай. Они робели ступить по наводшенному паркету, и немногие решались присесть на краешек дубовой скамьи. От стульев они наотрез отказывались. Так они дожидались целыми часами, глядя с тоской на каждого входившего или же выходявшего из кабинета.

Несколько попозже, обыкновенно на другой день, кто-нибудь из слуг украдкой пробирался в нашу классную комнату.

– Князинька, вы одни?

– Да.

– Так бегите скорее в переднюю. Мужики хотят вас видеть. Гостинцы привезли от кормилицы.

Когда я спускался в переднюю, кто-нибудь из крестьян вручал мне узелок с гостинцем: несколько ржаных лепешек, полдюжины крутых яиц и несколько яблок. Все это бывало завязано в пестрый ситцевый платок.

– Вот это тебе гостинцы от кормилицы Василисы. Уж не замерзли ли яблоки? Авось нет. Я их всю дорогу держал за пазухой. Да уж не дай бог, какой мороз! – И широкое, бородастое лицо сияло от улыбки, а из-под густой стрехи усов сверкали два ряда ослепительных зубов.

– А это для братца, от его кормилицы Анны, прибавлял другой, вручая мне такой же узелок. – Бедный, сказывала она, поди, никогда не доест-то там в корпусе.

Я краснел и не знал, что ответить. Наконец, я бормотал: «Скажи Василисе, что я целую ее; то же самое скажи Анне от брата». При этом лица у крестьян еще более расцветали.

– Да, уж передам, само собою.

Кирила, который караулил у дверей отцовского кабинета, начинал шептать: «Бегите скорее наверх, папаша сейчас выйдут. Не забудьте платок: они хотят его взять обратно», – шептал он, догоняя меня на лестнице; и когда я тщательно складывал поношенный платок, мне сильно хотелось послать Василисе что-нибудь. Но у меня ничего не было, не было даже игрушек. Никогда нам не давали карманных денег.

Лучшее наше время было, конечно, в деревне. Наступала весна. Снег таял, и вниз по Пречистенке, вдоль тротуаров, бежали шумные потоки воды. Около бульвара потоки сливались с другой, более шумной речкой, несшей вниз по Сивцеву Вражку пустые бутылки, студенческие тетради и всякий мусор. Эти потоки образовали у бульвара большое озеро, с каждым днем становилось все теплее, и все наши мысли неслись в Никольское.

Вот и половина моя наступила. Сирень, должно быть, отцвела в Никольском, а сборы в дорогу еще не начинались. Но вот в один прекрасный день во двор въезжает пять-шесть крестьянских телег, нагруженных овсом и мукою, это телеги «под обоз».

Начинаются сборы. Учение идет вяло: мы то и дело спрашиваем посреди уроков, взяли ли с собою такие-то книги в Никольское, и раньше всех мы начинаем укладывать наши книги, аспидные доски, бумаги и самодельные игрушки. Во двор выкатываются из каретника громадная, шестиместная карета на висячих рессорах, коляска, тарантас, и из кабинета доносятся громкие крики отца. Дворецкому, кучерам, мачехе – всем достается, оказывается, что надо отсылать экипажи в починку, нужно перековывать лошадей или исправлять хомуты.

Легко ли в самом деле собраться в деревню. Вся семья, человек в десять – двенадцать, все дворовые и весь кухонный и домашний скарб должны быть перевезены за 230 верст от Москвы.

Наконец хомуты и экипажи налажены, «важи», то есть большие плоские чемоданы, которые кладутся на верх большой кареты, уложены, целый воз нагружен громадными ящиками с пустыми стеклянными банками, которые осенью вернутся полными всякого варенья;

на другом возу громоздятся матрацы, постели и кое-какая мебель, негодная уже для города, но полезная в деревне... Как только повезут такие возы крестьянские клячи!

Мужики каждый день набиваются в передней в ожидании приказа о выезде, кричат, кланяются, утираются клетчатыми тряпицами и тяжело вздыхают. Пора по домам, работы дома не оберешься. Их послали с конными подводами в Москву в зачет барщины, но кто знает: зачтут ли все дни, прожитые в Москве? Да и дома работа не ждет, и вот Аксинья, улучив добрую минуту, говорит мачехе, как бы мимоходом: «Мужики плачутся, домой им нужно, готовиться к покосу».

– Давно пора, – отвечает мачеха, – но князь не может справиться со своими делами.

Проходит день, другой, третий. Отец все пишет по утрам в кабинете, а вечером пропадает в клубе, возы стоят увязанные во дворе, а приказа о выезде все нет.

Наконец вечером к отцу требуют дворецкого Фрола и первую скрипку Михаила Алеева. Отец вручает дворецкому «кормовые» всей дворне, по пятнадцать копеек серебром мужчинам, по десять копеек женщинам в сутки, и длинный список в сорок с лишком человек, где фигурирует весь оркестр, повара, поваренки, судомойки, кухарки, Секлетинья, жена Андрея-повара (был еще Андрей-портной), с семьей из шести ребятишек, Полька-косая, Мишка-повар (ему сорок лет) и т. д.

Затем Михаилу Алееву – он же первая скрипка – вручается приказ, написанный отцом крупным почерком, в большом конверте с кучей песка (тогда еще не знали пропускной бумаги).

«Дворецкому человеку Михаилу Алееву, князя Алексея Петровича Кропоткина, полковника и кавалера,

Приказ

Предписывается тебе такого-то числа, в 6 часов утра, выступить с моим обозом из Москвы в имение мое, в село Никольское, Калужской губернии, Мещовского уезда, что на реке Серене, в 230 верстах от сего дома; смотреть за порядком между людьми, и ежели который-нибудь окажется виновными в пьянстве или бесчинстве и неповинности, то ты должен явиться в ближайший город – Подольск или Малый Ярославец – к начальнику внутренней стражи и от моего имени просить о примерном наказании. Смотреть неукоснительно за целостью обоза и следовать по нижеследующему расписанию:

село такое-то – привал,

город Подольск – ночлег и т. д.».

И вот на другой день, в десять часов вместо шести – точность не в числе русских добродетелей (слава богу, мы не немцы), – обоз трогался в путь. Вдоль по Штатному и Денежному переулкам, вверх по Пречистенке, по направлению к Крымскому мосту и Калужским воротам вытягивалась дворня. «Оркестр» преобразался в каких-то цыган во всевозможных казакинах и хламидах; и старые, и молодые, женщины и дети брели вдоль московских улиц по направлению к Калужским воротам. Покуда шли в Москве, строго соблюдалось, чтобы «люди» шли в приличной одежде. Заткнуть брюки в голенища сапог или подпоясаться – строго запрещалось. Но как только выходили на большое Варшавское шоссе, дисциплина исчезала, и, когда мы нагоняли дня через два-три обоз – особенно если известно было, что отец останется в Москве и приедет позже на почтовых, – дворня в каких-то кафтанах, запыленная, с обгорелыми лицами, подпираясь самодельными палками, походила скорее на кочующий цыганский табор, чем на дворню княжеского дома. Дети сидели наверху и на задах нагруженных телег, туда же иногда подсаживались женщины, но мужчины все двести тридцать верст шли пешком и в жару, по пыли или слякоть, по грязи.

И так делалось везде в Старой Конюшенной. Из всех дворянских домов выступали каждую весну такие же обозы – так странствовали в то время дворовые всех барских домов.

Когда мы видели толпу слуг, проходивших по одной из наших улиц, мы знали уже, что Апухтины или Прянишниковы перебираются в деревню.

Обоз выезжал, а семья наша все еще не трогалась. Дня два-три спустя наступал наконец радостный для нас день. Всем уже надоело слоняться по опустелым комнатам, где вся мебель стояла в белых чехлах, чехлы были надеты и на зеркала, бронзовые часы и т. д., и все ждали вожденной минуты отъезда. Случалось, на самые последки отец позовет Сашу или меня и даст переписывать в толстую большую книгу свои последние бесконечно длинные приказы бурмистру села Никольского, старосте деревни Басова и старосте деревни Каменки и наконец вручит мачехе серый лист бумаги, крупно исписанный, и громко прочтет ей:

«Княгине Елизавете Марковне Кропоткиной, урожденной Карандино, князя Алексея Петровича Кропоткина, полковника и кавалера.

Маршрутное расписание

Выступление в 8 часов утра мая такого-то дня.

1. Переезд в 15 верст до станции такой-то.

2. Переезд до города Подольска...» и так далее вплоть до Никольского.

Май, впрочем, давно уже прошел, и вместо 8 часов утра «по расписанию» мы выезжаем в 3 часа дня; но это отец предвидел в маршрутном расписании, где имелось примечание:

«Если же паче чаяния выступление означенного мая 29-го дня в назначенный час не состоится, то предлагается Вашему Сиятельству поступать согласно Вашему разумению без утомления вверенных Вам лошадей и к вящему успеху».

Сколько радости приносило всем чтение этой бумаги. Все, включая прислугу, присаживались на минуту в зале на кончики стульев, затем мачеха с притворным благоговением крестилась, благословляла нас в дорогу, и мы прощались с отцом.

К крыльцу подъезжала большая карета, шестернею: четыре лошади в ряд с фореитором. Фореитор был хромоногий Филька, у него ноги были вывернуты вовнутрь (ему, еще когда он был мальчиком, лошадь разбила копытом нос, свернувши его на сторону; бедняга так и не рос, и, хотя ему было уже за 25 лет, он остался подростком, потому и шел за фореитора).

Чего только не набивалось в карету.

– Это твоей покойной матери я купил эту карету в Варшаве, варшавской работы, – говаривал мне отец.

Из нее выкидывали складную лесенку, и целых шесть человек, иногда семь, свободно помещались в карете мачеха, Леночка, Полинька, Мария Марковна, Софья Марковна, иногда Елена Марковна и Аксиныя.

Затем подъезжала коляска, и в нее залезал Пулэн, учитель Н. П. Смирнов и мы, дети, иногда Елена Марковна и кто-нибудь из горничных, все значилось точно в маршрутном расписании.

Отцовский тарантас часто оставался во дворе Отец всегда находил причины, чтобы остаться еще несколько дней в Москве.

– Умоляю тебя, Алексис, не ходи в клуб, – шептала мачеха при прощании.

Наконец, ко всеобщему удовольствию, мы трогались.

Отец приезжал потом на почтовых. Или же он отправлялся из Москвы объезжать свой округ внутренней стражи и в Никольское попадал гораздо позже – большею частью в августе, ко дню своего рождения.

Сколько радости для нас во время этого медленного, пятидневного переезда «на своих» из Москвы в Никольское.

Переезды делались маленькие, верст 20–25 утром, до жары, и столько же после полудня, двигались, стало быть, не спеша; где только начинался спуск или подъем, экипажи ехали шагом, а мы выскакивали и шли пешком, то забегая в лес собирать землянику, то просто идя

по дорожке рядом с шоссе, встречая богомольцев и всякий люд, который плетется пешком из одной деревни в другую.

Останавливались мы на привал и на ночлег или в хорошеньких нарядных станциях под красный кирпич, расположенных по шоссе, или еще чаще на постоянных дворах в больших селах, вытянувшихся по шоссе. Железных дорог тогда не было, и бесконечные обозы шли, особенно осенью, по дороге из Варшавы в Москву. Конечно, сперва Тихон, мастер на все руки, посылался на разведки, и, только условившись заранее в цене овса и сена, въезжали в просторный топкий двор того или другого постоянного двора. Торгуются до тошноты.

Ты уж, любезнейший, должен уважать княгиню, всякий год к тебе заезжаю, – уверяет мачеха содержателя постоянного двора.

– Известно, матушка, ваше сиятельство как не уважать, уверяет в свою очередь дворник.

Наконец экипажи въезжают во двор, и начинается разгрузка.

Повар Андрей покупает курицу и варит суп. Приносятся большие кринки цельного молока, на столе появляется самовар.

Мы тем временем бегаем по двору, где все так ново и интересно, свиньи, завязшие по уши в жидкой грязи, телята и утопающие в навозе куры. Хотелось бы поиграть с ребятишками, но нам не позволяют. Иногда мы бежим в соседнюю рощу собирать землянику, откуда кормят лошадей.

Вечером еще больше суеты. Из кареты и коляски выносятся подушки и налаживаются постели, для нас приносится свежее сено и постилается на пол, потом сено покрывается простынями и шалами, и весь кочующий табор скоро погружается в сон.

И так целых пять дней.

В Малоярославце мы всегда ночуем, и Пулэн не преминет отправиться с нами на поле сражения, где в 1812 году русские старались остановить Наполеона во время его отступления из Москвы. Пулэн объяснял нам, как русские пытались задержать Наполеона и как великая армия опрокинула их и прорвалась сквозь наши линии. Он рассказывал все так подробно, как будто сам участвовал в битве. Здесь казаки пробовали обойти французов, но Даву или другой какой-нибудь маршал разбил их и преследовал вон до того холма направо. Вон там левое крыло наполеоновской армии опрокинуло русскую пехоту, а вот здесь сам Наполеон повел свою старую гвардию против центра кутузовской армии и покрыл себя и гвардию неуязвимой славой.

Раз мы поехали по старой Калужской дороге и остановились в Тарутине. Тут мосьё Пулэн был не так красноречив, потому что здесь после кровавой битвы Наполеон, рассчитывавший пойти на юг, вынужден был вновь следовать дорогой на Смоленск через места, разоренные во время наступления на Москву. Но (так выходило по рассказам Пулэна) все это произошло единственно оттого, что Наполеон был обманут маршалами. Иначе он пошел бы на Киев и Одессу и его знамена развевались бы на берегу Черного моря.

Всего веселее было добраться до Калуги – не столько из-за пресловутого «калужского теста» с имбирем, которое говорят, мерилось локтями, сколько из-за того, что тут кончалось путешествие по «большой дороге». Дорога эта, невероятной ширины, обсаженная с двух сторон двумя рядами берез, была действительно ужасна. Все время в гору и под гору, а под горою – сухая ли стоит погода или дождливая – неизменно стоит топь из жидкой красной глины. Есть, конечно, и мостик, но на мост никто не отважится ездить, и ямские тройки, и тем более наши тяжелые экипажи всегда, бывало, объезжают эти мосты и после предварительной рекогносцировки и вправо и влево, высадив всех пассажиров, неизбежно с криком и гиканьем въезжают в самую топь.

И несчастные лошади, иногда с подмогой добавочных пристяжных, как-то ухитряются вывезти тяжелые экипажи из топи, где, казалось бы, им век сидеть.

В ту пору громадные обозы чумаков с солью, бывало, плетутся по этой дороге, и любимое занятие нашей двор ни было дразнить их: «Чи хохол мазепа ваксу съел». На что чумаки в холщовых рубашках и холщовых штанах, вымазанных дегтем, неизбежно отвечали ругательствами. За Калугою начинался тогда громадный сосновый бор. Целых семь верст приходилось ехать сыпучими песками, лошади и экипажи вязли в песке чуть ли не по ступицу, и эти семь верст до перевоза через Угру мы шли пешком. В моем детстве эти семь верст в сосновом бору, среди вековых сосен, соединены у меня с самыми счастливыми воспоминаниями.

Все идут врассыпную, а я любил уходить один (конечно, когда Пулэн уже покинул нас) далеко вперед. Громадные вековые сосны надвигаются со всех сторон. Где-нибудь в ложбине вытекает ключ холодной воды, кто-то оставил для прохожих берестяной ковшик, прикрепленный к расщепленной палке. Напьешься холодной воды и идешь дальше, дальше – один, пока не выберешься из бора и экипажи не нагонят, выбравшись на лучшую дорогу. В этом лесу зародилась моя любовь к природе и смутное представление о бесконечной ее жизни.

За лесом перевоз через Угру на пароме и дорога в гору к необыкновенно обнищавшей деревне. «Удельные», – говорят нам в объяснение их невероятной бедноты. А за этой деревней и поворот с большой дороги на проселочную, или просто «проселок».

Лошадям, может быть, и тяжелее по проселку. Но все как то веселяют, когда экипажи покатаются по узкой дороге, врезанной глубоко среди полей, так что рукой можно достать нагибающиеся колосья. Пристяжные отпрягаются, а если едут тройкой, то все время им приходится карабкаться, спотыкаясь по косогорам и жаться к оглоблям, а все-таки и лошади даже бегут дружнее, урывая пучки травы на обочинах дороги, точно и они чувствуют, что близок конец путешествия.

Вот наконец и Крамино, несчастнейшая деревушка из разваливающихся курных изб, а там, за нею, пойдут скоро уже знакомые места село Высокое, имение князя Волконского, а далеко, верст за семь, с горы выгянет светло желтая колокольня нашего Никольского. Вот наконец «последняя ива», «поповский луг», и мы проезжаем через громадную площадь, где бывает Никольская ярмарка, затем мимо длинного забора, сложенного из камня, пересыпанного землею, и наконец въезжаем на широкий двор Никольского.

Никольское как нельзя лучше соответствовало тихой жизни тогдашних помещиков. Там не было великолепия, которое встречалось в более богатых поместьях. Но художественный вкус сказался в планировке построек сада и вообще во всем. Кроме главного, недавно выстроенного отцом дома, на большом дворе было еще несколько флигелей. Они давали большую независимость жившим в них и в то же время не разрушали тесных сношений, устанавливаемых семейной жизнью. Большой фруктовый «верхний сад» тянулся до церкви, на южном скате, который вел к реке, был разбит сад для гулянья. Здесь цветочные клумбы чередовались с аллеями, обсаженными липами, сиренью и акациями. С балкона главного дома открывался великолепный вид на реку и на остатки земляной Серенской «крепости», в которой русские когда-то упорно отсиживались от татар. Далее расстилалось громадное желтеющее море колосьев, окаймленное на горизонте лесами.

В ранние дни детства мы, двое, с братом и мосье Пулэн занимали один из флигелей. После того как методы преподавания нашего гувернера смягчились вследствие вмешательства Лены, мы были с ним в самых лучших отношениях. Отца никогда не было летом: он все время проводил в смотрах. Мачеха не обращала на нас много внимания, в особенности с тех пор, как у ней родилась дочь Полина. Таким образом, мы все время были с мосье Пулэном, нам было весело с ним: он купался с нами, увлекался грибами и охотился за дроздами и даже воробьями. Он всячески старался развивать в нас смелость и, когда мы боялись ходить в темноте, старался отучить нас от этого суеверного страха. Сначала он приучил нас ходить в

темной комнате, а потом и по саду поздно вечером. Бывало, во время прогулки Пулэн положит свой неразлучный складной нож со штопором под скамейку в саду и посылает нас за ним, когда стемнеет. В деревне не было конца приятным впечатлениям леса, прогулки вдоль реки, карабканье на холмы старой крепости, где Пулэн объяснял нам, как русские защищали ее и как татары взяли ее, иногда – случайные встречи с волками.

Бывали приключения. Во время одного из них мосье Пулэн стал героем на наших глазах: он вытащил из реки тонувшего Александра. Иногда отправлялись на прогулку большой партией, всей семьей, с горничными, по грибы. Тогда пили чай в лесу, на пчельнике, где жил столетний пасечник с маленьким внуком. Или же мы отправлялись в одну из наших деревень, где был вырыт глубокий пруд, в котором лавливали тысячи золотых карасей. Часть улова шла помещику, остальное распределялось между крестьянами. Моя кормилица жила в этой деревне. Ее семья была из беднейших. Кроме мужа в семье был маленький мальчик, уже помощник, да девочка, моя молочная сестра, ставшая впоследствии проповедницей и «богородицей» в раскольничьей секте, к которой принадлежала. Кормилица бывала страшно рада, когда я приходил повидать ее. Угостить меня она могла лишь сливками, яйцами, яблоками и медом. Но глубокое впечатление производили на меня ее любовь и ласки. Она накрывала стол белоснежной скатертью (чистота – религиозный культ у раскольников), подавала угощение в сверкающих деревянных тарелках, ласково говорила со мной, как с родным сыном. Я должен сказать то же самое о кормилицах двух старших братьев моих Николая и Александра. Они тоже принадлежали к семьям, принимавшим видное участие в двух раскольничьих толках в Никольском. Немногие знают, как много доброты таится в сердце русского крестьянина, несмотря на то что века сурового гнета, по-видимому, должны были бы озлобить его.

В ненастные дни у мосье Пулэна был большой запас историй для нас, в особенности про войну в Испании. Мы постоянно просили рассказать нам опять, как он был ранен в сражении, и каждый раз, как он доходил до того места, что почувствовал, как теплая кровь льется в сапог, мы бросались целовать его и давали ему всевозможные нежные имена.

Все, по видимому, подготовляло нас к военному поприщу: пристрастие отца (единственная игрушка, которую он, как припоминаю, купил нам, – ружье и настоящая будка), военные рассказы Пулэна, более того, даже библиотека, имевшаяся в нашем распоряжении. Эта библиотека принадлежала когда то деду нашей матери генералу Репнинскому, видному военному деятелю XVIII века, и состояла из сочинений, большею частью французских, по истории войн, тактике и стратегии, прекрасно переплетенных в кожу и украшенных многочисленными гравюрами. Нашим величайшим удовольствием в ненастные дни было просматривать эти картинки, изображавшие различное оружие со времени евреев и планы всех битв со времен Александра Македонского. Увесистые томы были также великолепным строительным материалом для сооружения сильных крепостей, которые некоторое время выдерживали удары тарана и метательные снаряды архимедовой катапульты (она, впрочем, скоро была запрещена, так как камни неизбежно попадали в окна). Тем не менее ни я, ни Александр не стали военными. Литература шестидесятых годов вытравивала все, чему нас учили в детстве.

Пулэн держался того же мнения о революциях, как и орлеанистский журнал «Illustration Francaise», старые номера которого он получал от приятеля француза, красильщика на Арбате, и все рисунки которого были нам отлично знакомы. Долгое время революция представлялась мне не иначе как смертью, скачущей на коне, с красным флагом в одной руке, с косой в другой, чтобы косить людей. Так было нарисовано в «Illustration» Теперь я думаю, однако, что нелюбовь Пулэна ограничивалась лишь революцией 1848 года, так как один из его рассказов о революции 1789 года произвел на меня глубокое впечатление.

Княжеский титул употреблялся в нашем доме впопад и невпопад при всяком удобном случае. По всей вероятности, это раздражало Пулэна, потому что раз он принялся рассказывать нам то, что знал о великой революции. Я не могу теперь вспомнить всего, что он говорил, припоминаю только, что Пулэн рассказывал нам, как «граф Мирабо» и другие отказались от своих титулов и как Мирабо, чтобы выразить свое презрение к аристократическим претензиям, открыл мастерскую с вывеской «Портной Мирабо» (передаю историю как слышал ее от Пулэна). Долгое время после того я все думал, какое бы занятие я бы избрал, чтобы изобразить на вывеске «Таких-то дел мастер Кропоткин». Впоследствии мой русский учитель Н. П. Смирнов и общий демократический дух русской литературы понудили меня к тому же, и когда я начал писать повести что было на двенадцатом году, – я стал подписываться просто «П. Кропоткин». То же делал я и впоследствии, когда был и в военной службе, несмотря на замечания моих начальников.

В окрестностях Никольского было много имений помещиков.

Трудно найти в Центральной России более красивые места для жизни летом, чем берега реки Серены. Высокие известняковые холмы спускаются местами к реке глубокими оврагами и долинами, а по ту сторону реки расстилаются заливные луга; темнеют уходящие вдаль тенистые леса, пересекаемые лощинами с быстро текущими речками. Там и сям виднеются помещичьи усадьбы, окруженные фруктовыми садами, а с вершины холмов можно насчитать сразу не менее семи церковных колоколен. Десятки деревень раскинуты среди ржаных полей.

Наша семья мало с кем из соседей водила знакомство. Только ближайšie к нам помещики иногда навещали нас. Самыми близкими нашими соседями были Точмачовы. Редкая неделя проходила без того, чтобы во дворе не раздавалось дребезжанье их старой большой кареты, запряженной парой шершавых лошадей. Как только карета останавливалась у парадного крыльце из нее вылезала вся семья – отец, мать и дети.

Иван Сидорович Толмачов, глава семьи, был представительный мужчина высокого роста. Он постоянно вел разные тяжбы со своими крестьянами, писал жалобы в Петербург на местных представителей власти и был занят составлением всевозможных проектов для усиления власти помещиков над крестьянами.

По обыкновению, Толмачов, не успев еще войти в комнату, говорил громким голосом:

– Здравствуйте, дорогая княгиня, а, знаете, вчера я написал в Петербург министру. Я ему пишу вторично; и первое свое письмо я не получил ответа. В Петербурге не заботятся о наших нуждах, а что мы можем поделаться с этими скотами крестьянами? Подумайте только, недавно один из них грозил мне, мне потомственному дворянину, пробывшему восемнадцать лет на государственной службе и который столько лет пользуется расположением вашего сиятельства, – как вам это покажется?..

Другой брат Толмачова был генералом в отставке. Будучи полковником, он подобно многим другим нажил большое состояние, урезывая солдатские пайки и продавая сукно, выдававшееся на солдатские шинели. Кроме того, он заставлял солдат, знавших какое-нибудь ремесло, работать на себя. Генерал Толмачов был очень высокого мнения о себе. Он говорил всегда с большим апломбом и торжественностью.

Своим соседям помещикам, которые были беднее его или ниже чином, он подавал только два пальца – и с таким видом, словно он делал этим великую честь. Но когда он подходил к «ручке» нашей мачехи, то он весь изгибался и всегда повторял одну и ту же фразу:

– В Петербурге я всегда говорю, что для меня большое счастье иметь летом таких уважаемых и достопочтенных соседей, как вы, дорогая княгиня.

После этого он сейчас же просил разрешения закурить и, раскуривая папироску, говорил:

– Когда я был командиром полка, я пил всегда только русскую очищенную и курил простую махорку. Ничего нет полезнее для здоровья, как чистая махорка.

И это говорилось лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть свое уважение к дамам.

Толмачовы обыкновенно приезжали к нам с двумя своими дочерьми и мальчиком сыном. Старшая дочь была очень тихой девочкой. К несчастью своему, она воспитывалась в фешенебельном петербургском институте для «благородных девиц» и там получила такое ложное представление о жизни и людях, что когда после окончания института она познакомилась с действительной жизнью, то разочаровалась в людях и кончила тем, что постриглась в монахини.

Ее младшая сестра была ее полной противоположностью. Она была воплощением здоровья и веселья; о чем бы серьезном с ней ни заговаривали, она всегда разрасталась громким смехом, но не потому, что была истеричкой, но таков был ее веселый нрав. Иногда, сидя за обеденным столом, брат ее серьезно обращался к ней:

– Посмотри, Катя, на потолок, видишь, как там мухи ходят кверху ногами?

И этого было достаточно, чтобы Катя залилась таким безудержным смехом, что единственным для нее спасением было выйти из-за стола и на некоторое время убежать в сад. Когда она не смеялась, то ее жизнерадостность проявлялась в поцелуях: она беспрестанно целовала своих товарищей по игре, девочек и мальчиков без различия. Пулэн, заметив это, сделал нам строгий выговор и сказал, если мы будем позволять девочкам часто целовать себя, то у нас на губах вырастут усы, а в нашем возрасте это позорно.

Мы, дети, очень любили бывать в гостях у Толмачовых. У них был огромный фруктовый сад, и мы в этом саду играли «в разбойников». В саду была старая, заброшенная сторожка, и она нам служила разбойничьей пещерой.

В наших играх принимали участие и девочки – Катя и ее две подруги Варенька и Юлия. Катя была незаменимым товарищем для игр, лучше нельзя было и желать, но любовью нашей пользовалась ее подруга Варенька, красивая, серьезная девочка. В нее одновременно были влюблены брат Кати Толмачовой и мой брат Саша, а потом и я разделил их участь. Нужно заметить, что Варенька была на два года старше самого старшего из нас, ей было около пятнадцати лет, а нам лет по двенадцати-тринадцати. Варенька не обращала на своих поклонников ни малейшего внимания и смотрела на нас как на мальчишек. Ее же подруга Юленька замечала нашу влюбленность, зло вышучивала нас и очень ревновала к своей подруге.

Однажды мы втроем – брат Кати Толмачовой, мой брат Саша и я – созвали «совет» и решили похитить Вареньку и Юленьку и заманить их в разбойничью пещеру, и там заставить Вареньку поцеловать каждого из нас. Мы выработали очень сложный стратегический план по образцу тех, о которых мы читали в истории о войнах древних персов с греками. Наш план удался. Мы заманили девочек к сторожке и, к ужасу Кати, похитили ее двух подруг. Но Катя храбро ворвалась в разбойничью пещеру на защиту своих подруг и стала отбивать Вареньку. Юленька вырвалась и, плача, побежала жаловаться Пулэну. Я не знаю, чем кончилась бы вся эта история, если бы сама Катя Толмачова не примирила всех нас. После этого мы перестали дразнить Юлию, а Вареньку стали «обожать» еще больше. Но вскоре наступила осень, и мы переехали в Москву и здесь скоро ее забыли.

Усадьба Толмачовых не отличалась чистотой и порядком. Коровы, гуси и куры свободно разгуливали по двору, а на обширном дворе достраивалась огромная постройка. Старый генерал очень любил живопись, и, когда он жил в Петербурге, он накупил сотни разных картин, большей частью довольно плохие копии с полотен старых мастеров. Все стены его небольшого дома были увешаны картинами, а многие из них лежали нераспакованными в ящиках в амбаре.

И вот генералу пришла мысль выстроить для картин специальный дом и устроить там своего рода «картинную галерею». Я никогда не видел более безобразной постройки в смешанном стиле барокко и готики. Нет надобности, конечно, говорить, что здание строилось трудом крепостных, и крестьяне Толмачовых не одну зиму возили кирпич и известь для дома из Калуги, отстоявшей за двадцать верст.

Другой наш сосед по имению построил свою усадьбу среди огромного парка с бесконечным числом аллей, с прекрасным цветником, беседками, теплицами и вырытыми прудами.

Он был также военным, генералом от артиллерии, и поэтому в парке устроил небольшую крепость с настоящими укреплениями и несколькими пушками, из которых делали салюты в дни семейных торжеств.

Освобождение крестьян в 1861 году положило конец всем таким затеям. Картинная галерея у Толмачовых так и осталась незаконченной, а крепость вскоре обратилась в бесформенную груду валов. Пруды заросли камышом и осокой, а памятники былого свидетельствовали лишь о сумасбродных затеях бывших владельцев крепостных.

Всего печальнее было то, что все эти затеи исполнялись подневольным трудом крепостных в ущерб их хозяйству. Обычно все поместья, где помещики вели сытую и привольную жизнь, состояли из небольших деревень в двести триста душ, и на долю крестьян этих деревень выпадала тяжелая обязанность три дня в неделю отдавать работе на помещика. Крестьянские девушки и женщины кроме сельских работ выполняли еще различные рукоделия, ткали холст и т. д.

Все имения у большинства помещиков были заложены и перезаложены. И все наши соседи были похожи в этом отношении друг на друга. Молодые помещики немногим чем отличались от старых. Один из таких помещиков, получивший высшее образование в Петербурге, поселившись в имении, решил вести хозяйство на новых началах.

Прежде всего он выписал английские машины и пригласил немца в управляющие. Но машины оказались не под силу для изнуренных крестьянских лошадей, и в случае поломки машины приходилось посылать для ремонта чуть ли не в Москву. Немец-управляющий так восстановил крестьян против себя своим презрительным отношением, что помещик вынужден был ему отказать от места. После неудачных попыток вести хозяйство на новых началах молодой помещик снова взял бывшего управляющего своего отца, ловкого и хитрого мужика, который своей жестокостью нагонял страх на крепостных. И так кончались почти все опыты во многих имениях.

Нам, детям, больше всего нравилась семья небогатой помещицы Сорокиной. Мать, старая вдова, сама вела хозяйство и на небольшой доход, получаемый от имения, воспитывала семь дочерей и одного сына, который был студентом в Московском университете. Моя сестра Елена и я сам больше всего любили бывать в этой семье, хотя наш отец не любил старую помещицу и называл ее «гордячкой». Но нам, детям, бесконечно нравился ее небольшой домик и старый запущенный сад.

Все в этой семье, начиная со старшего сына-студента и старшей дочери, учившейся вместе с моей сестрой Еленой в институте, интересовались серьезными вопросами и любили литературу.

Это было одно из тех семейств, которые описывал Тургенев в своих произведениях. Тургенев был любимым писателем и в этой семье. Как часто мы, сидя за круглым столом, читали повести Тургенева, а также последнюю книжку толстого журнала. Какую массу сведений о жизни мы почерпнули в этой семье. Из таких-то семей и вышли потом молодые интеллигентные силы, когда наступила пора действовать. Это произошло через несколько лет после освобождения крестьян от крепостной зависимости.

## Глава VIII

### **Крепостное право. – Макар. – Браки по приказу. – Андрей-портной. Сдача в солдаты. – Горничная Поля. – Саша-доктор. – Герасим Круглов. – Как Маша получила вольную**

Осенью 1852 года Александр поступил в кадетский корпус, и с тех пор мы видались лишь на праздниках да иногда по воскресеньям. До кадетского корпуса от нашего дома было верст семь, и хотя у нас держали десяток лошадей, но всегда как-то выходило, что, когда следовало послать сани в корпус за братом, все лошади были в разгоне. Николай приезжал домой очень редко. Относительная свобода, которую Александр нашел в военном училище, а в особенности влияние двух преподавателей литературы быстро содействовали его развитию. Дальше мне придется еще сказать о том благотворном влиянии, которое имел он на мое развитие. Мне выпало на долю большое счастье иметь любящего, развитого старшего брата.

Я тем временем оставался дома. Приходилось дожидаться, покуда придет мой черед поступить в Пажеский корпус, а он пришел, когда мне было почти пятнадцать лет. Пулэн уже в 1853 году получил отставку, и вместо него пригласили учителя-немца Карла Ивановича, оказавшегося одним из тех идеалистов, которые нередко встречаются среди немцев. В особенности помню я, как он читал Шиллера: наивная его декламация приводила меня в восторг. Прожил он у нас только одну зиму.

Осенью 1853 года я поступил учиться в Первую московскую гимназию, а для домашних уроков отец пригласил студента Московского университета Н. П. Смирнова. Гимназия помещалась тогда на Пречистенке, почти рядом с нашим домом. Меня приняли в третий класс, мне было всего 11 лет, а уже приходилось проходить целый ряд предметов, большей частью выше детского понимания. Преподавались же все предметы самым бессмысленным образом. Геометрии нас учил некто Невенгловский, шутивно-грубо обращавшийся с учениками. Большинство из нас ничего не понимало в тех премудростях, которые он вычерчивал на доске, и мы заучивали на память по книжке мудреные теоремы Эвклида. Мне Невенгловский ставил «пять», но я решительно не знаю за что. Я ровно ничему не выучился в гимназии из геометрии, и, когда четыре года спустя я снова стал учиться геометрии в Пажеском корпусе, все – с самых первых определений – было для меня совершенно ново. Я знал хорошо только четыре правила арифметики.

Всего лучше обстояло дело с русским языком. Писал я совершенно правильно под диктовку, и «сочинения» на заданные темы вполне удовлетворяли учителя Магницкого, который был грозой всего класса, но мне он всегда ставил «пятерки» вплоть до экзамена, когда я жестоко срезался на каких-то деепричастиях и мне поставили «двойку».

По истории дела у меня шли из рук вон плохо. История преподавалась у нас таким образом: в класс приносилась доска, разграфленная на квадратики, каждые сто квадратики изображали столетие, а каждый квадратик – год. Как только доску устанавливали, начиналась пытка. Во всех квадратах были изображены значки: кружочки, палочки, кресты. Учитель брал трость и тыкал ею то в палочку, обозначающую вступление на престол какого-нибудь царя, то в кружочек, обозначающий какую-либо войну, и грозно спрашивал: «Григорьев, что это обозначает; Николаев, а это что» и т. д.

Начиналось всеобщее нервничанье. Отвечать надо было сразу, и хотя кружок или палочка уже по самому своему положению обозначали год и то, что в этом году произошла война, но второпях каждый из нас отвечал невпопад, на столетие раньше или позже. Мы

перевирали войны и «вступления на престол», и «единицы» и «двойки» так и сыпались в классный журнал. По истории у меня неизменно красовалась «двойка» вплоть до экзамена. На экзамене мне досталось царствование Александра I и война 1812 года, и мой связный и одушевленный рассказ о наполеоновских войнах, о которых я так много слышал от Пулэна, так понравился экзаменаторам, что мне единодушно поставили «пяť», да еще с плюсом, уничтожая таким образом все следы моих неизменных «двоек».

Горе у меня было также и с географией. Я любил географию и учился с удовольствием. Я с моим другом Николаевым составил даже географию нашей гимназии. Написали целый курс с картами и планами. Помню, наш третий класс мы описывали так: «С юга он омывается морем – «Пречистенкой», на востоке граничит с государством второклассников, а с запада прилегает к обширному государству четвероклассников, говорящих на чужестранном языке, именуемом латынью».

Описывалась и «поверхность» нашего класса с «горою» – кафедрой, «вулканами», классной доской, перечислялись и «долины» между партами и характеризовались их «обитатели» – смиренные и степенные на первой скамье и все более и более буйные по мере удаления от главного «залива», в который приплывают чужестранцы, сиречь учителя, несущие страх и смятение в нашу страну. Тут же мы рассказывали историю нашей страны и описывали, как один из чужестранцев был сброшен вместе со своим тронem с горы-кафедры злокозненным обществом горных стрелков, которые ухитрились прорыть «канал» между кафедрой и стеной, то есть попросту отодвинули кафедру несколько от стены, поставили трон чужестранца на самый край «обрыва», вследствие чего иностранец, не заметивший козней своих врагов, усевшись, по обычаю, на трон, полетел на землю и стукнулся головой о стену. «Казенной» географии я тоже хорошо учился и вычерчивал очень тщательно карты. Но все-таки я был на дурном счету у «чужестранца», учившего нас географии, и за что – за излишнее усердие.

Учитель географии задавал нам чертить карты разных государств, но он заставлял нас просто копировать карты с географического атласа. Меня это не удовлетворяло, и поэтому я вместе с Н. П. Смирновым чертил карты на географической сетке и раскрашивал их. Когда я принес изящно раскрашенную карту Англии и преподнес ее учителю, он ужасно рассердился и, к великому моему огорчению, поставил мне «двойку».

Научился я в гимназии очень немногoму, но зима, проведенная в школе среди других мальчиков, бывших большей частью гораздо старше меня, – все это дало толчок моему развитию. С этих пор начинается моя сознательная жизнь. Все, что я помню из моего раннего детства, рисуется мне в виде отдельных сцен, отделенных друг от друга большими пробелами.

С весны же 1854 года, то есть с одиннадцати с половиной лет, я начинаю помнить все события, год за годом. Люди вокруг меня, их лица, их манеры все стало врезаться мне в память. С этих пор я стал более или менее сознательно читать, и с этих же пор начинаются мои первые детские литературные упражнения, которые развивал во мне мой учитель Н. П. Смирнов.

Отсюда начинается переход от детства к отрочеству, и я расскажу теперь то, что я наблюдал вокруг себя в эти три года – лучшие годы моего детства, которые пронеслись между гимназией и Пажеским корпусом.

Мой учитель Н. П. Смирнов к тому времени кончил университет и получил небольшое место в гражданской палате, где проводил все утро, я же оставался один до обеда. После приготовления уроков и прогулки у меня оставалось еще много времени, чтобы читать и в особенности чтоб писать. Осенью же, когда учитель возвращался в Москву, а мы все еще продолжали жить в деревне, я опять оставался один. Уроков никаких не было, и, поболтавши в семье и поигравши с маленькой сестрой Полинькой, я мог вволю отдаваться чтению и письму.

Крепостное право доживало тогда последние годы. Все это было еще так недавно, точно вчера, а между тем немногие в России ясно сознают, чем было крепостное право. Большинство, конечно, знает, что тогдашние условия были плохи; но как сказывались эти условия физически и нравственно на живых существах, едва ли многие понимают. Просто поразительно видеть, как быстро было забыто учреждение и общественные условия, порожденные им, едва только учреждение перестало существовать. Так быстро меняются обстоятельства и люди! Постараюсь поэтому рассказать, как жили при крепостном праве. Буду передавать не то, что слышал, а то, что сам видел.

Ключница Ульяна стоит в коридоре, ведущем в кабинет отца, и крестится. Она не смеет ни войти, ни повернуть назад. Наконец она прочитывает молитву, входит в кабинет и едва слышным голосом докладывает, что запас чая почти на исходе, что сахара осталось всего лишь фунтов двадцать и что остальная провизия также скоро выйдет.

– Воры! Грабители! – кричит отец. – А ты заодно с ними!

Голос его гремит на весь дом. Мачеха послала Ульяну, чтобы на ней разразилась гроза

– Фрол, позови княгиню! – кричит отец. – Где она? – И когда мачеха входит, он встречает ее таким же образом.

– И ты заодно с хамовым отродьем! Ты заступаешься за них! – И так далее в продолжение целого получаса, а иногда и больше.

Затем отец принимается проверять счета. При этом он вспоминает о сене. Посылается Фрол перевесить, сколько осталось его; мачехе приказывается присутствовать при взвешивании, а отец вычисляет, сколько должно быть сена на сеновале. Выходит, по-видимому, что исчезло много пудов, а Ульяна не может сказать, как израсходовано несколько фунтов какой-то провизии. Голос отца становится все более и более грозным. Ульяна трепещет. Теперь зовут к допросу кучера. На нем разражается гроза. Отец бросается на него и принимается бить. Кучер твердит одно: «Ваше сиятельство, изволили ошибиться».

Отец снова принимается считать. На этот раз выходит, что на сеновале больше сена, чем следовало. Крики продолжают. Теперь отец ругает кучера за то, что он задает лошадям меньше корма, чем надлежит, но кучер призывает в свидетели всех святых, что лошади получают корма сколько следует. Фрол призывает в свидетельницы богородицу, что кучер говорит правду.

Но отец не желает уgomониться. Он призывает настройщика и поддворецкого Макара и высчитывает ему все недавние проступки и прегрешения. Макар на прошлой неделе напился и, наверное, был пьян также вчера, потому что разбил несколько тарелок. В сущности, разбитые тарелки были первопричиной всей тревоги. Мачеха сообщила об этом отцу утром; в силу этого Ульяна была встречена большею бранью, чем обыкновенно в подобных случаях; в силу этого состоялась проверка сена. Отец продолжал кричать, что хамово отродье заслуживает всяческого наказания.

Внезапно наступает затишье. Отец садится за стол и пишет записку.

– Послать Макара с этой запиской на съезжую. Там ему закатят сто розог.

В доме ужас и оцепенение.

Бьет четыре. Мы все спускаемся к обеду, но ни у кого нет охоты есть. Никто не дотрагивается до супа. Нас за столом десять человек. За каждым стоит «скрипка» или «тромбон» с чистой тарелкой в левой руке, но Макара нет.

– Где Макар? – спрашивает мачеха. – Позвать его.

Макар не является, и приказ отдается снова. Входит Макар, бледный, с искаженным лицом, пристыженный, с опущенными глазами. Отец глядит в тарелку. Мачеха, видя, что никто из нас не дотронулся до супа, пробует оживить нас.

– Не находите ли вы, дети, – говорит она по-французски, – что суп сегодня превосходный?

Слезы душат меня. После обеда я выбегаю, нагоняю Макара в темном коридоре и хочу поцеловать его руку; но он вырывает ее и говорит не то с упреком, не то вопросительно:

– Оставь меня, небось, когда вырастешь, и ты такой же будешь?

– Нет, нет, никогда!

А между тем отец мой был не из жестоких помещиков. Наоборот, слуги даже и мужики считали его хорошим баринком. Но то, что я только что описал, происходило всюду, часто в гораздо более жестокой форме. Сечение крепостных входило в круг обязанностей полиции и пожарных.

Один помещик раз спросил другого:

– Почему это в нашем имении число душ так медленно прибывает? Вы, по всей вероятности, мало следите за тем, чтобы люди женились?

Через несколько дней после этого генерал возвратился в свою деревню. Он велел принести себе список всех крестьян, отметил имена всех парней, достигших восемнадцати лет, и девушек, которым исполнилось шестнадцать, то есть всех тех, которых по закону можно венчать. Затем генерал отдал приказ: «Ивану жениться на Анне, Павлу на Парашке, Федору на Прасковье» и т. д. Так он наметил пять пар. «Пять свадеб, – гласил приказ, должны состояться в воскресенье, через десять дней».

Вой поднялся по всей деревне. В каждой избе вопили женщины, молодые и старые. Анна надеялась выйти за Григория. Павловы старики уже сговорились с Федотовыми насчет их дочери, которая скоро входила в возраст. На придачу время было пахать, а не свадьбы играть! Да и как можно подготовиться к свадьбе в десять дней. Десятки крестьян приходили, чтобы повидать барина. Группы баб с кусками тонкого полотна в руках дожидались у черного входа барыни, чтобы заручиться ее заступничеством. Но все было напрасно. Помещик заявил, что свадьбы должны быть через десять дней; так оно и быть должно.

В назначенный день свадебные процессии, скорее напоминавшие похороны, направились в церковь. Женщины вопили и причитывали, как по покойникам. Одного из лакеев командировали в церковь, чтобы доложить, когда обряд свершится. Скоро, однако, лакей прибежал, бледный и расстроенный, с шапкой в руках.

– Парашка упрямится, доложил он – Она не хочет выходить за Павла. Когда батюшка спросил: «Согласна ты?», она громко крикнула: «Нет, не согласна!»

Помещик рассвирепел.

– Ступай и скажи ему, долгогривому, что, если он не обвенчает Парашку, я донесу на него архиерею, он – пьяница. Как смеет он, мерзавец, не слушаться меня. Скажи, что я его сгною в монастыре. Парашкиных же родителей сошлю в степную деревню.

Лакей передал приказ. Парашку обступили поп и родные. Мать на коленях молила дочь не губить всех. Девушка твердила «не хочу», но все более и более слабым голосом, потом шепотом, наконец совсем замолчала. Ей возложили венец... Она не сопротивлялась. Лакей помчался в барский дом с докладом: «Повенчали».

Полчаса спустя у ворот помещичьего дома забряцали бубенчиками свадебных поездов. Пять пар слезли с телег, перешли двор и вошли в переднюю. Помещик принял их и велел поднести по рюмке водки. Родители, стоявшие позади плакавших дочерей, велели им кланяться в ноги барину.

Свадьбы по приказу составляли такое обычное явление, что среди наших дворовых не любившие друг друга, но предвидевшие, что их велят обвенчать, обыкновенно кумились. По закону венчание становилось невозможным. Хитрость обыкновенно удавалась, но раз такая хитрость в нашем доме закончилась трагедией. Портной Андрей полюбил девушку, принадлежащую соседнему помещику. Он надеялся, что отец отпустит его на оброк и что, работая усердно, он сможет скопить денег на вольную для девушки. Иначе, выйдя замуж за отцовского крепостного, она тоже стала бы крепостной отца. А так как Андрей предвидел,

что ему могут приказать обвенчаться с одной из наших горничных, он решил заранее покурить с ней. Случилось именно то, чего они опасались. Раз их позвали в кабинет к отцу и отдали приказ повенчаться.

– Мы всегда рады выполнить вашу волю, ответили они, да несколько недель тому назад мы вместе крестили.

Андрей также сообщил о своем намерении... Кончилось тем, что его сдали в солдаты.

При Николае I не было всеобщей воинской повинности, как теперь. Дворяне и купцы не были обязаны служить. Когда объявляли новый набор, помещики должны были доставить известное число рекрут. Обыкновенно в каждой деревне крестьяне сами вырабатывали черед; но дворовые зависели всецело от произвола помещика. Если барин был недоволен дворовым, он отправлял его в воинское присутствие и получал рекрутскую квитанцию, которая представляла значительную денежную стоимость, так как ее можно было продать одному из тех, кому предстояло идти в солдаты.

Солдатская служба в то время была ужасна, она продолжалась двадцать пять лет. Стать солдатом значило навсегда оторваться от родной деревни и от родных и находиться в полной власти у такого командира, как, например, Тимофеев, о котором я уже говорил. Побои, розги, палки сыпались каждый день. Жестокость при этом превосходила все, что можно себе представить. Даже в кадетских корпусах, в которых воспитывались дети дворян, присуждалась иногда тысяча розог – в присутствии всего корпуса – за папиросу. Доктор стоял возле истязаемого мальчика и останавливал наказание только тогда, когда пульс почти переставал биться. Окровавленную жертву в обмороке уносили в госпиталь. Великий князь Михаил, начальник военных училищ, быстро удалил бы директора, у которого не было хоть одного или двух подобных случаев в течение года. «Дисциплины нет!» – сказал бы он.

С простыми солдатами поступали, конечно, еще хуже. Если кто попадал под военный суд, приговор был почти всегда – прогнать сквозь строй. Тогда выстраивали в два ряда тысячу солдат, вооруженных палками толщиной в мизинец (они сохранили свое немецкое название шпицрутены) Осужденного проволакивали сквозь строй три, четыре, пять и семь раз, причем каждый солдат опускал каждый раз по удару. Унтер-офицеры следили за тем, чтобы солдаты били изо всех сил. После одной или двух тысяч палок харкающую кровью жертву уносили в госпиталь, где ее лечили только для того, чтобы наказание могло быть доведено до конца, как только солдат немного оправится. Если он умирал под палками, окончание приговора производилось над трупом, привязанным к тачке. Николай I и брат его Михаил были безжалостны. Никакое смягчение наказания не было даже возможно.

«Я тебя прогоню сквозь строй. Я тебе шкуру спущу под палками!» – такова была обычная угроза в то время.

Мрачный ужас охватывал весь наш дом, когда становилось известно, что кого-нибудь из прислуги отправляют в военное присутствие. Его заковывали и сажали в контору под караулом, чтобы помешать ему наложить на себя руки. Затем к дверям конторы подъезжала телега, и сдаваемого выводили в сопровождении двух караульных. Все дворовые окружали его. Он кланялся всем низко и просил каждого простить ему вольные и невольные прегрешения. Если родители сдаваемого жили в деревне, они приходили также, чтобы проводить. Тогда он клал родителям низкий поклон, причем мать и родственницы начинали причитывать, как по покойнику: «На кого ты нас покинул? Кто порадеет о нас на чужой сторонке? Кто нас, сиротушек, от людей злых да укроет?..»

Таким образом, Андрею предстояло двадцать пять лет тянуть солдатскую ляжку. Все его мечты о счастье рухнули сразу.

Свадьба одной из горничных, Пелагеи, или Поли, как ее звали, была еще более трагична. В детстве ее сдали в магазин, где она в совершенстве изучила тонкое вышивание. В Никольском ее пальцы стояли в комнате сестры Лены. Она обыкновенно принимала участие

в разговорах между Леной и жившей в той же комнате сестрой мачехи. Как по разговору, так и по манерам Поля скорее была похожа на барышню, чем на горничную.

С ней случилось несчастье она убедилась, что должна скоро стать матерью. Тогда она рассказала все мачехе, которая разразилась упреками «Не хочу больше иметь в доме эту тварь! Не допущу подобного стыда в моем доме. Бесстыдница, дрянь!» и т. д. На слезы Лены не обратили внимания. Поле отрезали косы и сослали на скотный двор. Но так как она как раз в то время вышивала удивительную юбку, то работу приказано было кончать на скотном, в грязной избе, у крошечного оконца. Поля закончила работу и сделала еще много других тонких вышивок в надежде получить прощение. Но оно не приходило. Отец ребенка, дворовый нашего соседа, молил о разрешении жениться. Но так как у него не было денег, чтобы выкупить Полю, то разрешения не дали. «Дворянские манеры» Поли приняли как отягчающие вину обстоятельства, и ей приготовили горькую долю. Среди наших дворовых был один, который за малый рост ездил фореитором. Звали его Филька Косолапый. В детстве его жестоко зашибла лошадь, и он не рос больше, ноги у него были колесом, ступни выворочены вовнутрь, нос сломан и согнут в сторону, а челюсть обезображена. За этого-то уроды решили отдать Полю и отдали. Выдали ее силой. Новобрачных послали на крестьянскую работу в рязанскую деревню.

Человеческие чувства не признавались, даже не подозревались в крепостных. Когда Тургенев писал «Му-му», а Григорович свои романы, в которых заставлял публику плакать над несчастьем крепостных, для многих читателей то было настоящим откровением. «Возможно ли это? Неужели крепостные любят совсем как мы?» – восклицали сентиментальные дамы, которые при чтении французских романов горько оплакивали злосчастия благородных героев и героинь.

Образование, которое давали иногда помещики своим крепостным, являлось для них новым источником несчастий. Отец мой раз выбрал в крестьянской избе одного способного мальчика и отдал его в фельдшерскую школу. Мальчик был прилежный и через несколько лет сделал значительные успехи. Когда он вернулся из ученья, отец купил все необходимое для хорошей аптеки, и ее устроили очень удобно в одном из флигелей в Никольском. Летом Саша-доктор, как звали в доме молодого человека, усердно собирал и сушил различные целебные травы. В короткое время он стал очень любим в Никольском и во всей округе: больные крестьяне приходили из соседних деревень, и отец очень гордился успехом своей аптеки. Но это продолжалось недолго. Раз зимой отец приехал в Никольское, прожил здесь несколько дней и уехал. В ту же ночь Саша-доктор застрелился – нечаянно, как говорили. Но причиной была любовная история. Он любил девушку, на которой не мог жениться, так как она была крепостной другого помещика.

Судьба другого молодого человека, Герасима Круглова, которого отец отдал в московское земледельческое училище, была почти так же печальна. Он блестяще окончил – с золотой медалью. Директор училища употребил все усилия, чтобы убедить отца дать Круглову вольную и открыть ему доступ в университет, куда крепостных не принимали.

– Круглов, наверное, будет замечательным человеком, – говорил директор, – быть может, гордостью России. Вам будет принадлежать честь, что вы оценили его способности и дали такого человека русской науке.

– Он мне надобен в моей деревне, – отвечал отец на настойчивые ходатайства за молодого человека. В действительности при первобытном способе ведения хозяйства, от которого отец ни за что не отступил бы, Герасим Круглов был совершенно бесполезен. Он снял план имения, а затем ему приказали сидеть в лакейской и стоять с тарелкой в руках за обедом. Конечно, на Герасима это должно было сильно подействовать. Он мечтал об университете, об ученой деятельности. Его взгляд выражал страдание; мачеха же находила осо-

бое удовольствие оскорбить Герасима при всяком удобном случае. Раз осенью порыв ветра открыл ворота. Она крикнула проходившему Круглову: «Гараська, ступай, запри ворота!»

То была последняя капля. Герасим резко ответил: «На то у вас есть дворник» – и пошел своей дорогой.

Мачеха вбежала с плачем в кабинет к отцу и принялась ему выговаривать: «Ваши люди оскорбляют меня в вашем доме!..»

Герасима немедленно заковали и посадили под караул, чтобы сдать в солдаты. Прощание с ним стариков родителей было одною из самых тяжелых сцен, которые я когда-либо видел...

На этот раз судьба, однако, отомстила. Николай I умер, и военная служба стала менее тяжелой. Замечательные способности Герасима были скоро замечены, и через несколько лет он стал одним из главных письмоводителей и в сущности душой одного из департаментов военного министерства. Случилось так, что мой отец, человек абсолютно честный, никогда не бравший взятку – и это в такое время, когда взятками все наживали состояния, – нарушил, однако, правила службы и раз допустил неправильность, чтобы угодить своему корпусному командиру генералу Гартунгу: он записал в разряд «неспособных» одного из солдат, служившего у корпусного за управляющего. Отцу это едва не стоило генеральского чина, который должны были дать ему при выходе в отставку. Главная, единственная цель его тридцатипятилетней службы была в опасности. Мачеха помчалась в Петербург, чтобы уладить историю. После долгих хлопот ей сказали наконец, что единственно, что остается, – это обратиться к одному из письмоводителей такого-то Департамента. Хотя он лишь простой главный писарь, сказали ей, но в действительности он руководит всем и может сделать, что захочет. Зовут его Герасим Иванович Круглов.

– Представь себе, – рассказывала мне потом мачеха, – наш Гараська! Я всегда знала, что у него большие способности. Пошла я к нему и сказала о деле, а он мне в ответ: «Я ничего не имею против старого князя и сделаю все, что могу, для него».

Герасим сдержал слово: он сделал благоприятный доклад, и отца произвели. Наконец-то он мог надеть так давно желанные красные штаны, шинель на красной подкладке и каску с плюмажем.

Таковы были дела, которые я сам видел в детстве. Картина получилась бы гораздо более мрачная, если бы я стал передавать то, что слышал в те годы: рассказы про то, как мужчин и женщин отрывали от семьи, продавали, проигрывали в карты либо выменивали на пару борзых собак или же переселяли на окраину России, чтобы образовать новое село; рассказы про то, как отнимали детей у родителей и продавали жестоким или же развратным помещикам; про то, как ежедневно с неслыханной жестокостью пороли на конюшне; про девушку, утопившуюся, чтобы спастись от насилия; про старика, поседевшего на службе у барина и потом повесившегося у него под окнами; про крестьянские бунты, укрощаемые николаевскими генералами запарыванием до смерти десятого или же пятого и опустошением деревни. После военной экзекуции оставшиеся в живых крестьяне отправлялись побираться под окнами. Что же касается до той бедности, которую во время поездок я видел в некоторых деревнях, в особенности в удельных, принадлежавших членам императорской фамилии, то нет слов для описания всего.

Заветной мечтой крепостных было получить вольную. Но мечту эту очень трудно было осуществить, так как за вольную приходилось уплатить помещику большую сумму денег.

– Знаешь ли, – сказал мне раз отец, – ваша мать являлась ко мне после смерти. Вы, молодые, не верите в такие вещи, а между тем это правда. Дремлю я раз поздно ночью в кресле, у письменного стола. Вдруг вижу: она входит, вся в белом, бледная, с горящими глазами. Когда твоя мать умирала, она взяла с меня обещание, что я дам вольную ее горничной Маше. Потом то за тем, то за другим делом целый год я не мог исполнить обещание. Ну

вот твоя мать явилась и говорит мне глухим голосом «Alexis, ты обещал мне дать вольную Маше; неужели забыл?» Я был поражен ужасом. Вскрываю из кресел, а она исчезла. Зову людей, но никто из них ничего не видел. На другой день я отслужил панихиду на могиле и сейчас же отпустил Машу на волю.

Когда отец умер, Маша пришла на похороны, и я говорил с ней. Она была замужем и очень счастлива. Брат Александр шутливо передал рассказ отца, и мы спросили, что она знает о привидении?

– Все это было уже очень давно, так что я могу вам сказать правду, ответила Маша. – Вижу я, что князь совсем позабыл о своем обещании; тогда я оделась в белое, как ваша мамаша, и напомнила князю его обещание. Вы ведь не будете сердиться за это?

– Разумеется, нет!

Десять или двенадцать лет после того, как произошли события, описанные в начале главы, я раз ночью беседовал с отцом в его кабинете о прошлом. Крепостное право было отменено: отец жаловался, хотя не сильно, на новый порядок дел. Он принял его без особенного ропота.

– А ведь сознайтесь, – сказал я, – что вы часто жестоко наказывали слуг, иногда даже без всякого основания.

– С этим народом, – отвечал он, – иначе и нельзя было. Разве они люди?

Затем он откинулся на спинку кресла и задумался.

– Но что я делал, – начал он опять после долгой паузы, – были пустяки; и говорить не стоит. А вот хоть этот самый Саблев: уж на что кажется мягким и говорит таким сладким голоском, а с крепостными чего он не делал! Сколько раз они собирались убить его! Я по крайней мере хоть никогда не трогал своих девок. А вот этот старый черт Толмачов такой был, что крепостные собирались жестоко изувечить его... Ну, прощай. Bonne nuit!

## Глава IX

### Крымская война. – Смерть Николая I

Я хорошо помню Крымскую войну. В Москве, надо сказать, она производила не особенно глубокое впечатление. Правда, в каждом доме на вечерах щипали корпию; но мало ее доставалось русским войскам: большая часть раскрадывалась и продавалась неприятелю. Когда вмешались союзники, мы все были охвачены патриотизмом и всюду распевали модную в то время песенку:

Вот в воинственном азарте  
Воевода Пальмерстон  
Поражает Русь на карте  
Указательным перстом!  
Вдохновлен его отвагой,  
И француз за ним туда ж  
Машет дядюшкиной шпагой  
И кричит «Allons, courage!»

Но обычный ход общественной жизни в Москве не был нарушен происходившей тогда великой борьбой. В деревне же, напротив, война вызвала очень подавленное настроение. Рекрутские наборы следовали один за другим. Мы постоянно слышали причитания крестьянок. Народ смотрел на войну как на божью кару и поэтому отнесся к ней с серьезностью, составлявшей резкий контраст с легкомыслием, которое я видел впоследствии в военное время в Западной Европе. Хотя я был очень молод, но и тогда понимал чувство торжественной покорности судьбе, которое господствовало в деревнях.

Брат Николай, как и другие, был захвачен военной горячкой и присоединился к кавказской армии, не окончив кадетского корпуса. Больше я никогда уже не видел его.

В 1854 году семья наша увеличилась: приехали еще две сестры мачехи. У них был дом и виноградник в Севастополе, но теперь они остались без крова и стали жить с нами. Когда союзники высадились в Крыму, жителям Севастополя объявили, что им бояться нечего и что каждому остается лишь жить спокойно. Но после поражения при Черной речке всем велели выбираться как можно скорее, так как город будет занят через несколько дней. Лошадей не хватало, на придачу, дороги были запружены войсками, передвигавшимися на юг. Нанять повозку оказывалось почти невозможным. Сестры мачехи должны были оставить по дороге почти все свое имущество и вытерпели не мало, покуда добрались до Москвы.

Я скоро подружился с младшей из сестер, тридцатилетней девицей, которая курила папиросы одну за другой и картинно рассказывала мне о всех ужасах дороги. Со слезами на глазах говорила она про прекрасные военные корабли, которые пришлось потопить у входа в Севастопольскую бухту, и не раз повторяла, что не понимает, как это будут защищать Севастополь с суши, так как город не имеет, собственно, никаких укреплений. Картины осады ярко рисовались мне.

Н. П. Смирнов, который в то время уже кончил университет вторым кандидатом (первым был Б. Н. Чичерин, известный впоследствии профессор Московского университета), поступил в Гражданскую палату писцом, на семь рублей в месяц. Возвращаясь из палаты, он часто покупал мне у Александровского сада, у букиниста, брошюрки о войне, и из этих брошюрок, которые я берег как «библиотеку», я узнавал о подвигах севастопольских героев.

Мне шел тринадцатый год, когда умер Николай I. поздно вечером 18 февраля городские разносили по домам бюллетени, в которых возвещалось о болезни царя, и население приглашалось в церкви молиться за выздоровление Николая. Между тем царь уже умер и власти знали про это, так как Петербург и Москва были соединены телеграфом. Но так как до последнего момента ни слова не было произнесено о болезни царя, то начальство сочло необходимым постепенно подготовить «народ». Мы все ходили в церковь и молились очень усердно.

На другой день, в субботу, повторилось то же самое. Даже в воскресенье утром вышли бюллетени о состоянии здоровья царя. Лишь в полдень от слуг, возвратившихся с Смоленского рынка, мы узнали про смерть Николая I. Когда известие распространилось, ужас охватил как наш, так и соседние дома. Передавалось, что «народ» на базаре держит себя очень подозрительно и не только не выражает сожаления, но, напротив, высказывает опасные мнения. Взрослые разговаривали не иначе как шепотом, а мачеха твердила постоянно по-французски: «Ах, не говорите при людях!» Слуги в свою очередь шептались про «волю», которую дадут скоро. Помещики ждали ежеминутно бунта крепостных – новой пугачевщины.

В это время на улицах Петербурга интеллигентные люди обнимались, сообщая друг другу приятную новость. Все предчувствовали, что наступает конец как войне, так и ужасным условиям, созданным «железным тираном». Говорили о том, что Николай отравился, и в подтверждение указывалось на быстрое разложение тела. Истина, однако, раскрылась постепенно. Смерть произошла, по-видимому, от слишком большой дозы возбуждающего лекарства, принятого Николаем.

В провинции летом 1855 года с сосредоточенным интересом следили за героической борьбой под Севастополем за каждый аршин разрушенных укреплений. Из нашего дома дважды в неделю отправлялся нарочный в уездный город за «Московскими ведомостями», и, когда он возвращался, у него хватили газеты и распечатывали прежде даже, чем он успевал слезть с лошади, Лена читала их всем вслух. Новости немедленно передавались в людскую, оттуда в кухню, контору, священнику, а потом крестьянам.

Когда я читал донесение о сдаче Севастополя, о страшных потерях, которые понесли наши войска за последние три дня перед сдачей, мы все плакали. Все ходили после этого как если бы потеряли близкого человека. При известии же о смерти Николая никто не проронил слезы. Такое чувство было не у нас одних, но и у всех наших соседей.

## Глава X

### **Благотворное влияние студентов-учителей. – Н. П. Смирнов. – Проявление литературных склонностей. – Первые литературные опыты. – «Временник»**

В августе 1857 года пришла моя очередь поступить в Пажеский корпус, и мачеха меня повезла в Петербург. Мне тогда было почти пятнадцать лет. Уехал я из дому мальчиком; но человеческий характер устанавливается довольно определенно раньше, чем обыкновенно предполагают, и я не сомневаюсь в том, что, несмотря на отроческий возраст, я в значительной степени и тогда был уже тем, чем стал впоследствии. Мои вкусы и склонности уже определились.

Первый толчок в развитии дал мне, как я сказал, мой учитель русского языка Николай Павлович Смирнов. Я считаю прекрасным тогдашний обычай – к сожалению, выходящий уже теперь – иметь в доме студента, чтобы помогать при приготовлении уроков мальчикам и девочкам, даже когда дети поступят в гимназию. Помощь такого учителя неоценима как для того, чтобы лучше усваивать преподавание в школе, так и вообще для того, чтобы расширять круг знаний. Кроме того, таким образом вносится в семью культурный элемент. Студент становится старшим братом молодежи, зачастую даже лучше старшего брата, так как на студенте лежит известная ответственность за успехи его учеников. А так как методы преподавания меняются с каждым поколением, то студент лучше может помочь детям, чем наиболее интеллигентные родители.

Николай Павлович Смирнов имел развитой литературный вкус. В дикую эпоху николаевщины многие совершенно невинные произведения наших лучших писателей не могли быть напечатаны. Другие вещи были так изуродованы цензурой, что теряли всякий смысл. Например, в гениальной комедии Грибоедова полковника Скалозуба пришлось назвать «господином Скалозубом», от чего пострадали и смысл, и некоторые стихи. Представить полковника в смешном виде считалось бы оскорблением армии. Вторую часть такой безобидной книги, как «Мертвые души», не разрешили вовсе, а первую часть запретили выпустить вторым изданием, когда первое разошлось.

Многие стихотворения Пушкина, Лермонтова, Алексея Толстого, Рылеева и других поэтов не были пропущены цензурой. Я уже не говорю про стихотворения, заключавшие какую-нибудь политическую мысль или критиковавшие существующий порядок, но даже совсем невинные стихотворения некоторых авторов не попадали в печать. Зато все эти стихотворения ходили в рукописях. Смирнов переписывал их для себя или для приятелей, и в этой работе я иногда помогал ему. Даже большие произведения Гоголя и Лермонтова ходили по рукам в рукописях. Как настоящий москвич, Н. П. Смирнов питал глубочайшее уважение к писателям, жившим в Москве (некоторые из них даже в Старой Конюшенной). С уважением показывал он мне дом графини Салиас (Евгении Тур), нашей ближайшей соседки. Что же касается дома Герцена, то Николай Павлович мне указывал его не только с уважением, но даже с благоговением. Дом, в котором умер Гоголь (на Никитском бульваре, д. № 7), являлся для нас обоих предметом особого обожания. Хотя мне шел всего десятый год, когда умер Гоголь (1852), и я тогда еще не читал ни одного его произведения, но я хорошо помню, как опечалила Москву эта смерть. Тургенев хорошо выразил это общее горе в заметке, за которую Николай посадил его под арест, а за тем сослал в деревню.

«Евгений Онегин» произвел на меня лишь слабое впечатление. И до сих пор я больше восхищаюсь удивительной простотой и красотой формы романа, чем его содержанием. Зато Гоголь, которого я читал, когда мне было одиннадцать или двенадцать лет, произвел на меня громадное впечатление. Мои первые литературные опыты я – в подражание Гоголю – писал в юмористическом жанре. «Юрий Милославский», роман Загоскина, «Капитанская дочка» Пушкина и «Королева Марго» Александра Дюма надолго заинтересовали меня историей. Что касается других французских романов, то я стал читать их лишь тогда, когда выступили Золя и Додэ. С раннего детства Некрасов был моим любимым поэтом. Многие его стихотворения я знал наизусть.

Николай Павлович рано приохотил меня писать. При его помощи я написал длинную «Историю гривенника». Мы придумывали вместе различные характеры людей, в руки которых попадал гривенник. Саша в то время больше проявлял поэтические наклонности. Он писал романтические истории и рано стал сочинять очень звучные стихи, которые давались ему чрезвычайно легко. Он, наверное, стал бы видным поэтом, если бы всецело не увлекся впоследствии естественными науками и философией. Слегка покатаая крыша под нашим окном в то время была любимым местом, где он искал поэтического вдохновения; а я, конечно, не мог удержаться, чтобы не дразнить его: «Вот у трубы поэт сидит и стихи строчит». Поддразнивание кончалось иногда жестокой потасовкой, которая приводила Лену в отчаяние. Но Саша был незлопамятен. Мир вскоре бывал восстановлен, и мы страстно любили друг друга. У мальчиков любовь и потасовка часто идут рука об руку.

Я даже тогда пробовал стать журналистом. На двенадцатом году я начал издавать ежедневную газету «Дневные ведомости». Бумаги у нас было в обрез, и в силу этого моя газета была лишь в тридцать вторую долю листа. А так как Крымская война еще не начиналась и отец получал только «Московские полицейские ведомости», то у меня не было большого выбора для подражания. «Дневные ведомости», выходявшие каждый день, сообщали все новости дня вроде следующих: «Утром готовил уроки, ходил гулять с Н. П. Смирновым, вечером приезжали такие-то». Или: «Гулять не ходил, страдал животной болью». Летом, в Никольском, содержание ведомостей несколько разнообразилось: «Ходили в Костино, убито два дрозда и одна иволга!» и т. д.

Вскоре, однако, это перестало удовлетворять меня, и в 1855 году я стал издавать ежемесячный журнал «Временник», в котором помещались стихи Александра, мои повести и еще разные разности. Материально журнал был совершенно обеспечен, так как имел подписчиками, во-первых, самого редактора-издателя и, во-вторых, Н.П. Смирнова, который, даже когда оставил наш дом, аккуратно вносил свою плату за подписку в виде определенного числа листов бумаги. За это я чистенько переписывал для постоянного подписчика второй экземпляр.

Когда Смирнов оставил нас, его заменил медицинский студент Н. М. Павлов, который тоже помогал мне в издании. Николай Михайлович был добрейшая душа, высокий, рыжий, весь в веснушках. Он был медик, и когда возвращался из университета, то от его старого сюртука сильно разило трупным запахом и табаком. Н. М. Павлов достал для журнала поэму одного приятеля и – что еще более важно – вступительную лекцию московского профессора по физической географии! Конечно, лекция еще не появлялась в печати: наш журнал ни за что не унижился бы до перепечатки.

Едва ли нужно говорить, что Саша живо заинтересовался журналом, и слава его вскоре распространилась в стенах кадетского корпуса. Несколько многообещающих молодых писателей задумали издавать сопернический журнал. Дело принимало серьезный оборот. Что касалось стихотворений и повестей, то преимущество было за нами; но у конкурента был «критик». А «критик», затрагивающий по поводу новых беллетристических произведений всевозможные вопросы, которые не могут быть обсуждаемы иначе, является, как известно,

душой русского журнала. У конкурента был критик, а у нас – нет! Он даже написал статью для первого номера и показал ее брату. Статья, впрочем, была претенциозна и слаба, и Александр немедленно написал антикритику, в которой сокрушил и осмеял автора. Тогда лагерь соперников впал в уныние, узнавши, что антикритика появится в нашем ближайшем номере. Соперники отказались от мысли издавать журнал, и лучшие писатели их лагеря перешли к нам. Мы с триумфом возвестили, что заручились исключительным сотрудничеством стольких знаменитых писателей.

Из моих произведений в журнале я помню только «повесть» – «Пребывание в Унцовске», где я довольно комично, подражая, конечно, Гоголю, описал ярмарку в Мещовске с ее оживлением и с антиками-помещиками в благородном собрании.

Журнал прекратился в августе 1857 года, просуществовав два года. Я уехал в Петербург, где меня ждала новая среда и новая жизнь. С сожалением оставлял я Москву, так как в Москве я оставлял любимого брата. Притом я считал уже несчастьем поступление в военное училище.

## Часть вторая Пажеский корпус

### Глава I

#### Поступление в корпус. – Экзамены. – Полковник Жирардот. – Порядок и нравы корпуса

Заветное желание моего отца наконец осуществилось. Открылась вакансия в Пажеском корпусе, которую я мог занять, прежде чем достиг предельного возраста, старше которого уже не принимают. Мачеха меня отвезла в Петербург, я поступил в корпус. В этом привилегированном учебном заведении, соединявшем характер военной школы на особенных правах и придворного училища, находящегося в ведении императорского двора, воспитывалось всего сто пятьдесят мальчиков, большею частью дети придворной знати. После четырех или пятилетнего пребывания в корпусе окончившие курс выпускались офицерами в любой – по выбору – гвардейский или армейский полк – безразлично, имелась ли вакансия или нет. Кроме того, первые шестнадцать учеников старшего класса назначались каждый год камерпажами к различным членам императорской фамилии: к царю, царице, великим княгиням и великим князьям, что, конечно, считалось большой честью. К тому же молодые люди, которым выпадала подобная честь, становились известны при дворе и имели возможность попасть потом в адъютанты к императору или к одному из великих князей. Таким образом, они могли сделать блестящую карьеру. Поэтому папеньки и маменьки, имевшие связи при дворе, изо всех сил старались, чтобы их дети попали в Пажеский корпус, даже хотя бы в ущерб другим кандидатам, которые тогда никак не могли дожидаться вакансии. Теперь, когда я попал наконец в привилегированное училище, отец мог дать простор своим честолюбивым мечтам.

Корпус делился на пять классов, из которых старший назывался первым, а младший – пятым, и я держал экзамен в четвертый класс. Но так как на поверочном испытании обнаружилось мое недостаточное знакомство с десятичными дробями, то я вместо четвертого попал в пятый класс, тем более что в четвертом было уже более сорока воспитанников, тогда как для младшего едва набрали двадцать.

Такое решение крайне огорчило меня. И без этого я очень неохотно поступал в военное училище, а тут еще предстояло пробыть в нем пять лет вместо четырех. Что я стану делать в пятом классе, когда уже знаю все, чему там учат? Со слезами на глазах сказал я это инспектору, но он ответил мне шутливо: «А знаете слова Цезаря: лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме?» На что я с жаром возразил, что предпочел бы быть последним, лишь бы я мог окончить военное училище возможно скорее.

– Быть может, со временем вы полюбите корпус, – заметил инспектор, полковник Павел Петрович Винклер, замечательный для того времени человек. С тех пор он стал очень хорошо относиться ко мне.

Преподавателю арифметики артиллерийскому офицеру Чигареву, также пытавшемуся утешить меня, я поклялся, что никогда не раскрою учебника его предмета. «И, несмотря на это, вы мне будете ставить двенадцать», прибавил я. Слово я сдержал. Ученик, как видно, и тогда уже был с душком.

А между тем теперь я могу благодарить за то, что меня записали в младший класс. Так как первый год мне приходилось лишь повторять уже известное, я привык выучивать уроки в классе по объяснениям учителя. Таким образом, я мог после классов читать и писать сколько душе угодно. Притом большую половину первой зимы я провел в госпитале. Как все дети, родившиеся не в Петербурге, я отдал дань столице «хладных финских берегов»: перенес несколько припадков местной холерыны и наконец надолго слег от тифа. Первые годы я даже не готовился к экзаменам, а во время, назначенное для подготовки, обыкновенно читал нескольким товарищам вслух Островского или Шекспира. А затем, когда я перешел в старшие, специальные классы, я был хорошо подготовлен к слушанию различных предметов, читавшихся там.

Когда я поступил в Пажеский корпус, во внутренней его жизни происходило полное изменение. Вся Россия пробудилась тогда от глубокого сна и освобождалась от тяжелого кошмара николаевщины. Это пробуждение отразилось и на нашем корпусе. Признаться, я не знаю, что стало бы со мною, если бы поступил на год или на два раньше. Или моя воля была бы окончательно сломлена, или меня бы исключили – кто знает, с какими последствиями. К счастью для меня, в 1857 году переходный период был уже в полном развитии.

Директором корпуса был превосходный старик генерал Желтухин, но он только номинально был главою корпуса. Действительным начальником училища был «полковник» – француз на русской службе полковник Жирардот. Говорили, что он принадлежал к ордену иезуитов, и я думаю, что так оно и было. Его тактика во всяком случае была основана на учении Лойолы, а метод воспитания заимствован из французских иезуитских коллегий.

Нужно представить себе маленького, очень худощавого человека со впалой грудью, с черными, пронизывающими, бегающими глазами, с коротко подстриженными усами, делавшими его похожим на кота, человека очень сдержанного и твердого, не одаренного особенными умственными способностями, но замечательно хитрого; деспота по натуре, способного ненавидеть – и ненавидеть сильно – мальчика, не поддающегося всецело его влиянию, и проявлять эту ненависть не бессмысленными придирками, но беспрестанно, всем своим поведением, жестом, улыбкой, восклицанием. Он не ходил, а скорее, скользил, а пытливые взгляды, которые он бросал кругом, не поворачивая головы, еще больше довершали сходство с котом. Печать холода и сухости лежала на губах его, даже когда он пытался быть благодушным. Выражение становилось еще более резким, когда рот Жирардота искривлялся улыбкой неудовольствия или презрения. И вместе с тем в нем ничего не было начальнического. При первом взгляде можно было подумать, что снисходительный отец говорит с детьми как с взрослыми людьми. А между тем немедленно чувствовалось, что он желал всех и все подчинить своей воле. Горе тому мальчику, который не чувствовал себя счастливым или несчастным в соответствии с большим или меньшим расположением, которое оказывал ему полковник!

Слово «полковник» было постоянно у всех на устах. Все остальные офицеры имели клички; но никто не дерзал дать кличку Жирардоту. Своего рода таинственность окружала его, как будто он был всеведущ и вездесущ. И в самом деле, он проводил весь день и большую часть вечера в корпусе. Когда мы сидели в классах, полковник бродил всюду, осматривал наши ящики, которые отпирал собственными ключами. По ночам же он до позднего часа отмечал в книжечках (их у него была целая библиотечка) особыми значками, разноцветными чернилами и в разных графах проступки и отличия каждого из нас.

Игра, шутки и беседы прекращались, едва только мы завидим, как он, медленно покачиваясь взад и вперед, подвигается по нашим громадным залам об руку с одним из своих любимцев. Одному он улыбнется, остро посмотрит в глаза другому, скользнет безразличным взглядом по третьему и слегка искривит губы, проходя мимо четвертого. И по этим взглядам все знали, что Жирардот любит первого, равнодушен ко второму, намеренно не

замечает третьего и ненавидит четвертого. Ненависть эта была достаточной, чтобы нагнать ужас на большинство его жертв, тем более что никто не знал ее причины. Впечатлительных мальчиков приводило в отчаяние как это немое, неукоснительно проявляемое отвращение, так и эти подозрительные взгляды. В других враждебное отношение Жирардота вызывало полное уничтожение воли, как показал это в автобиографическом романе «Болезни воли» Федор Толстой, тоже воспитанник Жирардота.

Внутренняя жизнь корпуса под управлением Жирардота была жалка. Во всех закрытых учебных заведениях новичков преследуют. Они проходят своего рода искуc. «Старики» желают узнать, какая цена новичку. Не станет ли он фискалом? Есть ли в нем выдержка? Затем «старички» желают показать новичкам во всем блеске могущество существующего товарищества. Так дело обстоит в школах и в тюрьмах. Но под управлением Жирардота преследования принимали более острый характер, и производились они не товарищами-однокурсниками, а воспитанниками старшего класса – камер-пажами, то есть унтер-офицерами, которых Жирардот поставил в совершенно исключительное, привилегированное положение. Системе полковника заключалась в том, что он предоставлял старшим воспитанникам полную свободу, он притворялся, что не знает даже о тех ужасах, которые они проделывают; зато через посредство камер-пажей он поддерживал строгую дисциплину. Во время Николая ответить на удар камер-пажа, если бы факт дошел до сведения начальства, значило бы угодить в кантонисты. Если же мальчик каким-нибудь образом не подчинился капризу камер-пажа, то это вело к тому, что 20 воспитанников старшей класса, вооружившись тяжелыми дубовыми линейками жестоко избивали – с молчаливого разрешения Жирардота – слушника, проявившего дух непокорства.

В силу этого камер-пажи делали все, что хотели. Всего лишь за год до моего поступления в корпус любимая игра их заключалась в том, что они собирали ночью новичков в одну комнату и гоняли их в ночных сорочках по кругу, как лошадей в цирке. Одни камер-пажи стояли в кругу, другие – вне его и гуттаперчевыми хлыстами беспощадно стегали мальчиков. «Цирк» обыкновенно заканчивался отвратительной оргией на восточный лад. Нравственные понятия, господствовавшие в то время, и разговоры, которые велись в корпусе по поводу «цирка», таковы, что, чем меньше о них говорить, тем лучше.

Полковник знал про все это. Он организовал замечательную сеть шпионства, и ничто не могло укрыться от него. Но система у Жирардота была закрывать глаза на все проделки старшего класса.

В корпусе повеяло, однако, новой жизнью, и всего за несколько месяцев до моего поступления произошла революция. В том году третий класс подобрался особенный. Многие серьезно учились и читали, так что некоторые из них стали впоследствии известными людьми. Мое знакомство с одним из них – назову его фон Шауф – произошло, я помню, когда он был занят чтением «Критики чистого разума» Канта. Притом в третьем же классе находились и самые большие силачи корпуса, как, например, замечательный силач Коштов, большой друг фон Шауфа. Третий класс не так послушно, как его предшественники, подчинялся игу камер-пажей. Последствием одного происшествия была большая драка между первым и третьим классами. Камер-пажи были жестоко побиты. Жирардот замолчал происшествие, но авторитет первого класса был подорван. Хлысты остались, но их больше никогда не пускали в ход. Что же касается «цирка» и других игр, то они перешли в область преданий.

Таким образом, многое было выиграно, но самый младший класс, состоявший из очень молодых мальчиков, только что поступивших в корпус, должен был еще подчиняться мелким капризам камер-пажей. У нас был прекрасный старый сад, но пятиклассники мало им пользовались. Как только спускались в сад, они должны были вертеть карусель, в которую садились камер-пажи, или же им приказывали подавать старшим шары при игре в кегли. Дня через два после моего поступления, видя, как обстоят дела в саду, я не пошел туда, а остался

наверху. Я читал, когда вошел рыжий, веснушчатый камер-паж Васильчиков и приказал мне немедленно отправиться в сад вертеть карусель.

– Я не пойду. Не видите разве: я читаю, – ответил я.

Гнев искривил и без того некрасивое лицо камер-пажа. Он готов был кинуться на меня. Я стал в оборонительную позицию. Он пробовал бить меня по лицу фуражкой. Я отражал удары, как умел. Тогда он швырнул фуражку на пол.

– Поднимите!

– Сами поднимите!

Подобный факт неподчинения был неслыханной дерзостью в корпусе. Не знаю, почему он не избил меня на месте. Он был старше и сильнее меня.

На другой день и на следующий я получал подобные же приказы, но не исполнял их. Тогда начался ряд систематических мелких преследований, которые способны довести мальчика до отчаяния. К счастью, я всегда был в веселом расположении духа и отвечал шутками или вовсе не обращал внимания.

К тому же вскоре все кончилось. Полили дожди, и мы большую часть нашего времени проводили в четырех стенах. Но тут случилась новая история. В саду первый класс курил довольно свободно, но внутри здания курительной комнатой была «башня». Она содержалась очень чисто, и камин топился весь день.

Камер-пажи сильно наказывали всякого мальчика, если ловили его с папиросой, но сами постоянно сидели у огня, курили и болтали. Любимым их временем для курения было после десяти часов вечера, когда все остальные уже ложились спать. Заседание в «башне» продолжалось до половины двенадцатого, а чтобы охранить себя от неожиданного посещения Жирардота, они заставляли нас дежурить. Пятиклассников поднимали поочередно, парами, с постелей и заставляли их бродить по лестнице до половины двенадцатого, чтобы поднять тревогу в случае приближения полковника.

Мы решили покончить с этими ночными дежурствами. Долго продолжались совещания; обратились за советом, как поступить, к старшим классам. Их решение наконец было получено: «Откажитесь стоять на часах; если же камер-пажи начнут бить вас, что, по всей вероятности, будет, соберитесь возможно большей толпой и призовите Жирардота. Он, конечно, знает все, но тогда вынужден будет прекратить дежурства». Вопрос о том, не будет ли это «фискальством», был решен отрицательно знатоками в делах чести: ведь камер-пажи не держались с нами как с товарищами.

Черед стоять на страже выпал в эту ночь на некоего «старичка», Шаховского, и на крайне робкого новичка Севастьянова, говорившего даже тоненьким, как у девочки, голосом. Вначале позвали Шаховского; тот отказался, и его оставили в покое. Затем два камер-пажа пришли к Севастьянову, который лежал в постели; так как и он отказался, то его принялись жестоко стегать ременными подтяжками. Шаховской тем временем разбудил несколько товарищей, которые спали поближе, и все вместе побежали к Жирардоту.

Я тоже лежал в постели, когда два камер-пажа подошли ко мне и приказали мне стать на часы. Я отказался. Тогда они схватили две пары подтяжек (мы всегда складывали наше платье в большом порядке на табурете, рядом с постелью, подтяжки сверху, а галстук накрест) и стали стегать меня ими. Я сидел в постели и отмахивался руками; мне уже досталось несколько горячих ударов, когда раздался окрик: «Первый класс к полковнику!» Свиные бойцы разом присмирели и поспешно складывали в порядок мои вещи.

– Смотрите, ничего не говорите полковнику! – шептали они.

– Положите галстук как следует, в порядке, – шутил я, хотя спина и руки горели от ударов.

О чем Жирардот говорил с первым классом, мы не узнали, но на другой день, когда мы выстроились, чтобы спуститься в столовую, полковник обратился к нам с речью в минорном

тоне. Он говорил, как прискорбно, что камер-пажи напали на мальчика, который был прав, когда отказался идти. И на кого напали? На новичка, на такого робкого мальчика, как Севастьянов! Всему корпусу стало противно от этой иезуитской речи!

Нечего, кажется, прибавлять, что ночным дежурствам положен был конец. Вместе с тем нанесен был окончательный удар системе «приставания к новичкам».

Это событие также нанесло удар авторитету Жирардота, который принял все это близко к сердцу. К нашему классу, а ко мне в особенности, он стал относиться очень неприязненно (история с каруселью была ему, конечно, передана) и проявлял это при всяком удобном случае.

В первую зиму я частенько лежал в госпитале и в декабре заболел тифом, причем во время болезни директор и доктор относились ко мне с истинно отеческой заботливостью. Затем после тифа у меня был ряд острых и мучительных гастрических воспалений. Жирардот во время своих ежедневных обходов, заставая меня часто в госпитале, стал говорить мне полушутливо по-французски: «Вот валяется в госпитале молодой человек, крепкий, как Новый Мост». Раз или два я отвечал шутками, но наконец меня возмутило зложелательство в этом беспрерывном повторении одного и того же.

– Как вы смеете говорить так! – крикнул я. – Я попрошу доктора, чтобы он запретил вам ходить в эту палату! – И так далее в том же тоне.

Жирардот отступил шага на два. Черные глаза его сверкнули; его тонкие губы еще больше поджалась. На конец он произнес: «Я оскорбил вас? Не так ли? Хорошо, в рекреационной зале у нас стоят две пушки. Хотите драться на дуэли?»

– Я не шучу, – продолжал я, – и говорю вам, что не хочу больше терпеть ваших намеков

Полковник с тех пор не повторял более своей шутки, только окидывал меня еще более неприязненным взглядом, чем прежде.

Все говорили о вражде, питаемой Жирардотом ко мне, но я не обращал на это внимания; по всей вероятности, мой индифферентизм еще больше усиливал чувство неприязни полковника.

Целых полтора года он не давал мне погон, которые обыкновенно даются новичкам через месяц или два после поступления, после того как новичок получит некоторое понятие о фронтовой службе. Но я чувствовал себя очень счастливым и без этого украшения. Наконец, один офицер, лучший фронтовик в корпусе, вызвался обучить меня. Убедившись, что я как следует выделяю все штуки, он решился представить меня Жирардоту, но полковник отказал раз и два, так что офицер принял это за личное оскорбление. И когда раз директор спросил его, почему у меня нет погон, офицер ответил напрямик: «Мальчик все знает, только полковник не хочет». Немедленно после этого, по всей вероятности вследствие замечания директора, Жирардот еще раз проэкзаменовал меня, и я получил погоны в тот же день.

Вообще влияние полковника было уже сильно на ущербе. Изменялся весь характер корпуса. Целых двадцать лет Жирардот преследовал в училище свой идеал: чтобы пажики были тщательно причесаны и завиты, как, бывало, придворные Людовика XIV. Учились ли пажи чему-нибудь или нет, это его не занимало. Любимцами его состояли те, у кого в туалетных шкапулках было больше всевозможных щеточек для ногтей и флаконов с духами, чьи «собственные» мундиры (они надевались во время отпуска по воскресеньям) были лучше сшиты и кто умел делать наиболее изящный *salut oblique*. Жирардот часто устраивал репетиции придворных церемоний. С этой целью одного из пажей закутывали в красный бумажный постельный чехол, и он изображал императрицу во время *baisemain*. Мальчики когда-то почти как священнодействие выполняли обряд прикладывания к руке мнимой императрицы и удалялись с изящным поклоном в сторону. Но теперь даже те, которые были очень изящны при дворе, на репетиции отбивали поклоны с такой медвежьей грацией, что общий хохот не прекращался, а Жирардот приходил в бешенство. Прежде пажики, которых завивали, чтобы

повезти на выход во дворец, заботились о том, чтобы возможно дольше сохранить свои завитки после церемонии; теперь же, возвратившись из дворца, они бежали под кран, чтобы распрямить волосы. Над женственной наружностью смеялись. Попасть на выход, чтобы стоять там в виде декорации, считалось уже не милостью, а своего рода барщиной. Пажики, которых возили иногда во дворец, чтобы играть с маленькими великими князьями, как-то заметили, что один из последних при игре в жгуты скручивал потуже свой платок, чтобы большее стегать им. Один из пажей сделал тогда то же самое и так отхлестал князька, что тот ударился в слезы. Жирардот был в ужасе, хотя воспитатель великого князя, старый севастопольский адмирал, даже похвалил пажика.

За одно все-таки следует добром помянуть Жирардота. Он очень заботился о нашем физическом воспитании. Гимнастику и фехтование он очень поощрял. Я ему обязан за то, что он приучал нас держаться прямо, грудь вперед. Как все читающие, я, конечно, имел склонность горбиться. Жирардот спокойно, проходя мимо стола, подходил сзади и выпрямлял мои плечи и не уставал делать это много раз подряд.

В корпусе, как и в других школах, проявилось новое серьезное стремление учиться. В прежние годы пажи были уверены, что так или иначе они получают необходимые отметки для выпуска в гвардию. Поэтому первые годы они ничего не делали; учиться чему-нибудь начинали лишь в последних двух классах. Теперь же и младшие классы учились очень хорошо. Моральная атмосфера тоже стала совершенно иной в сравнении с тем, что было несколько лет назад. Одна или две попытки воскресить былое закончились скандалами. Жирардот должен был подать в отставку. Ему разрешили, однако, остаться на старой холостой квартире в здании корпуса, и мы часто видели его потом, когда он, закутанный в шинель, проходил, погруженный в размышления – по всей вероятности, печальные; полковник не мог не осуждать новые веяния, которые быстро определялись в корпусе.

## Глава II

### Отражение в Пажеском корпусе пробуждения России. – Преподаватели

Вся Россия говорила тогда об образовании. После того как заключили мир в Париже и цензурные строгости несколько ослабели, стали с жаром обсуждать вопрос о воспитании. Любимыми темами для обсуждения в прессе, в кружках просвещенных людей и даже в великосветских гостиных стало невежество народа, препятствия, которые ставились до сих пор желающим учиться, отсутствие школ в деревнях, устарелые методы преподавания и как помочь всему этому. Первые женские гимназии открылись в 1857 году. Программа и штат преподавателей не оставляли желать лучшего. Как по волшебству, выдвинулся целый ряд учителей и учительниц, которые не только отдались всецело делу, но проявили также выдающиеся педагогические способности. Их труды заняли бы почетное место в западной литературе, если бы были известны за границей.

И на Пажеском корпусе тоже отразилось влияние оживления. За немногими исключениями, все три младших класса стремились учиться. Чтобы поощрить это желание, инспектор П. П. Винклер (образованный артиллерийский полковник, хороший математик и передовой человек) придумал очень удачный план. Он пригласил для младших классов вместо прежних посредственностей самых лучших преподавателей. Винклер был того мнения, что лучшие учителя всего лучше дадут начинающим учиться мальчикам первые понятия. Таким образом, для преподавания начальной алгебры в четвертом классе Винклер пригласил отличного математика и прирожденного педагога капитана Сухонина. Весь класс сразу пристрастился к математике. Между прочим, скажу, что капитан преподавал и наследнику Николаю Александровичу и что наследник поэтому приезжал в Пажеский корпус раз в неделю, чтобы присутствовать на уроках алгебры капитана Сухонина. Императрица Мария Александровна была образованная женщина и думала, что, быть может, общение с прилежными мальчиками приохотит и ее сына к учению. Наследник сидел на скамье вместе с другими и, как все, отвечал на вопросы. Но большей частью во время урока Николай Александрович рисовал (очень недурно) или же рассказывал шепотом соседям смешные истории. Он был добродушный и мягкий юноша, но легкомысленный как в учении, так еще больше в дружбе.

Для пятого класса инспектор пригласил двух замечательных людей. Раз он, сияющий, вошел к нам в класс и объявил, что нам выпало завидное счастье. Большой знаток классической и русской литературы профессор Классовский, говорил нам Винклер, согласился преподавать вам русскую грамматику и пройдет с вами из класса в класс все пять лет до самого выпуска. То же самое для немецкого языка сделает другой профессор университета, г-н Беккер, библиотекарь императорской публичной библиотеки. Винклер выразил уверенность, что мы будем сидеть тихо в классе, так как профессор Классовский чувствует себя больным в эту зиму. Случай иметь такого хорошего преподавателя слишком завиден, чтобы упустить его.

Винклер не ошибся. Мы очень гордились сознанием, что нам будут читать профессора из университета. Правда, в «Камчатке» держались того мнения, что «колбасника» следует сделать шелковым, но общественное мнение класса высказалось в пользу профессоров.

«Колбасник», однако, сразу завоевал наше уважение. В класс вошел высокий человек, с громадным лбом и добрыми, умными глазами, с искрой юмора в них, и совершенно правильным русским языком объявил нам, что намерен разделить класс на три группы. В первую войдут немцы, знающие язык, к которым он будет особенно требователен. Второй

группе он станет читать грамматику, а впоследствии немецкую литературу по установленной программе. В третью же группу, прибавил профессор с милой улыбкой, войдет «Камчатка». «От нее я буду требовать только, чтобы каждый во время урока переписал из книги по четыре строки, которые я укажу. Когда перепишет свои четыре строчки, «Камчатка» вольна делать, что хочет, при одном условии – не мешать другим. Я же обещаю вам, что в пять лет вы научитесь немного немецкому языку и литературе. Ну, кто идет в группу немцев? Вы, Штакельберг? Вы, Ламсдорф? Быть может, кто-нибудь из русских тоже желает? А кто в «камчатку»?». Пять или шесть из нас, не знавших ни звука по-немецки, поселились на отдаленном полуострове. Они добросовестно переписывали свои четыре строчки (в старших классах строчек двенадцать – двадцать), а Беккер так хорошо выбирал эти строчки и так внимательно относился к ученикам, что через пять лет «камчадалы» действительно имели некоторое представление о немецком языке и литературе.

Я присоединился к немцам. Брат Саша в своих письмах так убеждал меня учиться немецкому языку, на котором есть не только богатая литература, но существуют также переводы всякой книги, имеющей научное значение, что я сам уже засел за этот язык. Я переводил тогда и выучивал трудное – в смысле языка – поэтическое описание грозы. По совету профессора я выучил все спряжения, наречия и предлоги и стал переводить. Это – отличный метод для изучения языков. Беккер посоветовал мне, кроме того, подписаться на дешевый еженедельный иллюстрированный журнал «Gartenlaube». Картинки и коротенькие рассказы приохочивали к чтению.

К концу зимы я попросил Беккера дать мне «Фауста». Я уже читал его в русском переводе; прочитал я также чудную тургеневскую повесть «Фауст» и теперь жаждал узнать великое произведение в подлиннике.

– Вы ничего не поймете в нем, сказал мне Беккер с доброй улыбкой, слишком философское произведение. – Тем не менее он принес мне маленькую квадратную книжечку с пожелтевшими от времени страницами. Философия Фауста и музыка стиха захватили меня всецело. Начал я с прекрасного, возвышенного посвящения и скоро знал целые страницы наизусть. Монолог Фауста в лесу приводил меня в экстаз, в особенности те стихи, в которых он говорил о понимании природы:

Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir alles,  
Warum ich bat Du hast mir nicht umsonst.  
Dein Angesicht im Feuer zugewendet... etc.  
(Могучий дух, ты все мне, все доставил,  
О чем просил я. Не напрасно мне  
Твой лик явил ты в пламенном сиянье.  
Ты дал мне в царство чудную природу,  
Познать ее, вкусить мне силы дал...  
Ты показал мне ряд создания жизни,  
Ты научил меня собратий видеть  
В волнах, и в воздухе, и в тихой роще.)

И теперь еще это место производит на меня сильное впечатление. Каждый стих постепенно стал для меня дорогим другом. Есть ли более высокое эстетическое наслаждение, чем чтение стихов на не совсем хорошо знакомом языке? Все покрывается тогда своего рода легкой дымкой, которая так подобает поэзии. Те слова, которые, когда мы знаем разговорный язык, режут наше ухо несоответствием с передаваемым образом, сохраняют свой тонкий, возвышенный смысл. Музыкальность стиха особенно улавливается.

Первая лекция В. И. Классовского явилась для нас откровением. Было ему под пятьдесят; роста он был небольшого, стремителен в движениях, имел сверкающие умом и сарказмом глаза и высокий лоб поэта. Явившись на первый урок, он тихо сказал нам, что не может говорить громко, так как страдает застарелой болезнью, а поэтому просит нас сесть поближе к нему. Классовский поставил свой стул возле первого ряда столов, и мы облепили его, как рой пчел.

Он должен был преподавать нам грамматику, но вместо скучного предмета мы услышали нечто совсем другое. Он читал, конечно, грамматику: но то он сопоставлял место из былины со стихом из Гомера или из Магабгараты, прелесть которых давал нам понять в переводе, то вводил строфу из Шиллера, то вставлял саркастическое замечание по поводу какого-нибудь современного предрассудка. Затем следовала опять грамматика, а потом какие-нибудь широкие поэтические или философские обобщения.

Конечно, мы не все понимали и упускали глубокое значение многого; но разве чарующая сила учения не заключается именно в том, что оно постепенно раскрывает пред нами неожиданные горизонты? Мы еще не постигаем вполне всего, но нас манит идти все дальше к тому, что вначале кажется лишь смутными очертаниями... Одни из нас навалились на плечи товарищей, другие стояли возле Классовского. У всех глаза блестели. Мы жадно ловили его слова. К концу урока голос профессора упал, но тем более внимательно слушали мы, затаив дыхание. Инспектор приоткрыл было дверь, чтобы посмотреть, как у нас идут дела с новым преподавателем, но, увидав рой застывших слушателей, удалился на цыпочках. Даже Донауров, натура вообще мятежная, и тот вперился глазами в Классовского, как будто хотел сказать: «Так вот ты какой!» Неподвижно сидел даже безнадежный Клюгенау, кавказец с немецкой фамилией. В сердцах большинства кипело что-то хорошее и возвышенное, как будто пред нами раскрывался новый мир, существования которого мы до сих пор не подозревали. На меня Классовский имел громадное влияние, которое с годами лишь усиливалось. Предсказание Винклера, что в конце концов я полюблю школу, оправдалось.

К несчастью, к концу зимы Классовский заболел и должен был уехать из Петербурга. Вместо него был приглашен другой учитель – Тимофеев, тоже очень хороший человек, но другого рода. Классовский был в сущности политический радикал. Тимофеев был эстетик. Тимофеев был большой почитатель Шекспира и много говорил нам о нем. Благодаря ему я глубоко полюбил Шекспира и по нескольку раз перечитывал все его драмы в русском переводе, часто я читал Шекспира вслух кому-нибудь из товарищей.

Когда мы перешли в третий класс, Классовский вернулся к нам, и я еще больше привязался к нему.

Западная Европа и, по всей вероятности, Америка не знают этого типа учителя, хорошо известного в России. У нас же нет сколько-нибудь выдающихся деятелей и деятельниц в области литературы или общественной жизни, которые первым толчком к развитию не обязаны были преподавателю словесности. Во всякой школе, всюду должен был быть такой учитель. Каждый преподаватель имеет свой предмет, и между различными предметами нет связи. Один только преподаватель литературы, руководствующийся лишь в общих чертах программой и которому предоставлена свобода выполнять ее по своему усмотрению, имеет возможность связать в одно все гуманитарные науки, обобщить их широким философским мировоззрением и пробудить таким образом в сердцах молодых слушателей стремление к возвышенному идеалу. В России эта задача, естественно, выпадает на долю преподавателя русской словесности. Так как он говорит о развитии языка, о раннем эпосе, о народных песнях и музыке, а впоследствии о современной беллетристике и поэзии, о научных, политических и философских течениях, отразившихся в ней, то он обязан вести обобщающие понятия о развитии человеческого разума, излагаемые врозь в каждом отдельном предмете.

То же самое следовало бы делать при преподавании естественных наук. Мало обучать физике и химии, астрономии и метеорологии, зоологии и ботанике. Как бы ни было поставлено преподавание естественных наук в школе, ученикам следует сказать о философии естествознания, внушить им общие идеи о природе по образцу, например, обобщений, сделанных Гумбольдтом в первой половине «Космоса».

Философия и поэзия природы, изложение метода точных наук и широкое понимание жизни природы – вот что необходимо сообщать в школе ученикам, чтобы развить в них реальное естественнонаучное мировоззрение. Мне думается, что преподаватель географии мог бы всего лучше выполнить эту задачу; но тогда нужны, конечно, совсем другие преподаватели этого предмета в средних школах и совсем другие профессора на кафедрах географии в университетах.

У нас в корпусе географию преподавал «знаменитый» Белоха. Белоха требовал, чтобы каждый ученик, вызванный к доске, провел на ней мелом градусную сеть и затем начертил карту. Прекрасная вещь, если бы все умели это делать. Но вычертить на память карту, сколько-нибудь похожую на что-нибудь, могло только всего пять-шесть учеников. Каждому, кто не умел вычертить карту на классной доске, Белоха ставил безжалостно «ноли».

Чтобы избежать «нолей», мы обзавелись маленькими, сантиметров в пять длины, карточками, которые мы называли почему-то шпаргалками. Пользовались мы ими таким образом: вызывает, например, Белоха Донаурова.

Донауров идет к доске, затем возвращается обратно на место и говорит:

– Кропоткин, дай твой платок, я свой забыл.

Я уже подготовил маленькую карту Европы и передаю ее Донаурову вместе с платком. Донауров сморкается и вкладывает карточку в ладонь левой руки. Покуда Белоха спрашивает другого ученика или смотрит в журнал, Донауров чертит карту со шпаргалки, называет приблизительно верно города, горы, реки и получает «балл душевного спокойствия», то есть «шесть». Иначе Донауров непременно получил бы «двойку» или «тройку», а то и «ноль», а «ноль» – это значит быть два воскресенья без отпуска.

Я с жаром взялся за изготовление карт-шпаргалок, и у меня составилась целый географический миниатюрный атлас в двух или трех экземплярах. Когда я в полутемном каземате Петропавловской крепости вычерчивал с претензией на художественность карты Финляндии, не раз повторял я, любуясь своей работой:

– Спасибо Белохе, без шпаргалок я никогда не научился бы так чертить.

Конечно, если бы Белоха давал нам уже готовую литографированную сетку и заставлял бы нас раза два-три счертить каждую карту на глаз, а не на память с другой карты, мы так же или даже лучше удержали бы в памяти географические очертания той или иной страны.

Белоха никому из нас не привил любви к географии, а между тем преподавание географии можно было бы сделать интересным и увлекательным. Учитель географии мог бы развернуть перед учениками всю картину мира во всем ее разнообразии и гармонической сложности. К сожалению, школьная география до сих пор является одной из самых скучных наук.

Другой учитель покорил наш шумный класс совсем иным путем. То был учитель чистописания, последняя спица в педагогической колеснице. Если к «язычникам», то есть к преподавателям французского и немецкого языков, вообще питали мало уважения, то тем хуже относились к учителю чистописания Эберту, немецкому еврею. Он стал настоящим мучеником. Пажи считали особым шиком грубить Эберту. Вероятно, лишь его бедностью объяснялось, почему он не отказался от уроков в корпусе. Особенно плохо относились к учителю «старички», безнадежно засевшие в пятом классе на второй и третий год. Но так или иначе Эберт заключил с ними договор: «По одной шалости в урок, не больше». К сожалению, должен сознаться, что мы не всегда честно выполняли договор.

Однажды один из обитателей далекой «Камчатки» намочил губку в чернила, посыпал ее мелом и швырнул в учителя чистописания «Эберт, лови!» – крикнул он, глупо ухмыляясь. Губка попала Эберту в плечо. Белесая жижа брызнула ему в лицо и залила рубаху.

Мы были уверены, что на этот раз Эберт выйдет из класса и пожалуется инспектору, но он вынул бумажный платок, утерся и сказал «Господа, одна шалость, больше нельзя! Рубаха испорчена», – прибавил он подавленным голосом и продолжал исправлять чью-то тетрадь.

Мы сидели, пристыженные и ошеломленные. Почему, вместо того чтобы жаловаться, он прежде всего вспомнил о договоре? Расположение класса сразу перешло на сторону учителя.

– Свинство ты сделал! – стали мы упрекать товарища. – Он бедный человек, а ты испортил ему рубаху!

Виноватый сейчас же встал и пошел извиняться

Учиться надо, господа, учиться! – печально ответил Эберт. И больше ничего.

После этого класс сразу притих. На следующий урок, точно по уговору, большинство из нас усердно выводило буквы и носило показывать тетради Эберту. Он сиял и чувствовал себя счастливым в этот день.

Этот случай произвел на меня глубокое впечатление и не изгладился из памяти. До сих пор я благодарен этому замечательному человеку за его урок.

С учителем рисования Ганцом у нас никогда не могли установиться мирные отношения. Он постоянно «записывал» шаловливых во время его урока, а между тем, по нашим понятиям, он не имел права так поступать, во-первых, потому, что был лишь учителем рисования, а во-вторых, и самое главное, потому, что не был человеком добросовестным. Во время урока он на большинство из нас не обращал никакого внимания, так как исправлял рисунки лишь тем, которые брали у него частные уроки или заказывали ему рисунки к экзамену. Мы ничего не имели против товарищей, заказывавших рисунки. Напротив, мы считали вполне естественным, что ученики, не проявлявшие способностей к математике или не обладавшие памятью, чтобы заучивать географию, и получавшие по этим предметам плохие отметки, заказывали писарю хороший рисунок или топографическую карту, чтобы получить «полные двенадцать» и улучшить таким образом общий вывод. Только первым двум ученикам не следовало это делать. «Но самому учителю не подобает, – рассуждали мы, – выполнять рисунки на заказ. А раз он делает так, то пусть же покорно переносит наш шум и проказы». Но Ганц, вместо того чтобы покориться, жаловался после каждого урока и с каждым уроком все больше и больше «записывал».

Когда мы перешли в четвертый класс и почувствовали себя полноправными гражданами корпуса, мы решили обуздать Ганца.

– Сами виноваты, что он так заважничал у вас, – говорили нам старшие товарищи. – Мы его держали в ежовых рукавицах.

Тогда мы тоже решили вышkolить его.

Однажды двое из нашего класса, отличные товарищи, подошли к Ганцу с папиросами в руках и попросили огонька. Конечно, это была лишь шутка; никто не думал курить в классе. По нашим понятиям, Ганц попросту должен был сказать проказникам: «Убирайтесь!», но вместо того он записал их в журнал, и обоих сильно наказали. То была капля, переполнившая чашу. Мы решили устроить Ганцу «балаган». Это значило, что весь класс, вооружившись одолженными у старших пажей линейками, станет барабанить ими по столам до тех пор, пока учитель уберется вон.

Выполнение заговора представляло, однако, некоторые затруднения. В нашем классе было немало маменькиных сынков, которые дали бы обещание присоединиться к демонстрации, но в решительный момент трусились бы и пошли на попятный. Тогда учитель мог пожаловаться на остальных. Между тем, по нашему мнению, в подобных предприятиях еди-

нодушие означает все, так как наказание, какое бы оно ни было, всегда легче, когда падает на целый класс, а не на немногих.

Затруднение было преодолено с чисто макиавеллиевской ловкостью. Условились, что по данному сигналу все повернутся спиной к Ганцу, а затем уже начнут барабанить линейками, которые будут лежать для этой цели наготове на столах второго ряда. Таким образом, маменькиных сынков не испугает вид Ганца. Но сигнал! Разбойничий посвист, как в сказке, крик или даже чиханье не годились. Ганц сейчас бы донес на того, кто свистнул или чихнул. Предстояло придумать беззвучный сигнал. Решили, что один из нас, хорошо рисовавший, понесет показать Ганцу рисунок. Сигналом будет, когда он вернется и сядет на место.

Все шло прекрасно. Нестеров понес рисунок, а Ганц исправлял его несколько минут, которые показались нам бесконечными. Но вот Нестеров вернулся наконец, остановился на мгновение, взглянул на нас, затем сел... Сразу весь класс повернулся спиной к учителю; линейки отчаянно затрещали по столам. Некоторые, покрывая трескотню, кричали: «Ганц, пошел вон!» Шум получился оглушительный. Все классы знали, что Ганц получил полностью бенефис. Он поднялся, пробормотал что-то, наконец удалился. Вбежал офицер. Шум продолжался. Тогда влетел субинспектор, а за ним и инспектор. Шум прекратился. Началась разноска.

– Старший под арест! – скомандовал инспектор. Так как первым учеником в классе, а потому и старшим был я, то меня повели в карцер. В силу этого я не видел всего дальнейшего. Явился директор. Ганцу предложили указать зачинщиков; он не мог никого назвать.

– Они все повернулись ко мне спиной и стали шуметь, – ответил он. Тогда весь класс повели вниз. Хотя телесное наказание совершенно уже не практиковалось в нашем корпусе, но на этот раз высекли двух пажей, попросивших у Ганца закурить. Мотивировались розги тем, что бенефис устроили в отмщение за наказание проказников.

Узнал я о всем этом десять дней спустя, когда мне разрешили возвратиться в класс. Меня стерли с красной доски, чем я ничуть не огорчился. Зато должен сознаться, что десять дней без книг в карцере показались мне несколько длинными. Чтобы скоротать время, я сочинил в дубовых стихах оду, в которой воспевались славные деяния четвертого класса.

Само собой разумеется, мы стали героями корпуса. Целый месяц потом мы все рассказывали другим классам про наши подвиги и получали похвалы за то, что выполнили все так единодушно и никого не поймали отдельно. Затем потянулись воскресенья без отпуска вплоть до самого рождества... Весь класс был так наказан. Впрочем, так как мы сидели все вместе, то проводили эти дни очень весело. Маменькины сынки получали целые корзины с лакомствами. У кого водились деньжонки, те накупали горы пирожков. Существенное до обеда, а сладкое – после. По вечерам товарищи из других классов доставляли контрабандным путем славному четвертому классу массу фруктов.

Ганц не записывал больше никого; но с рисованием мы покончили. Никто не хотел учиться рисованию у этого продажного человека.

## Глава III

### **Переписка с Сашей. – Его увлечение философией и политической экономией. – Религия. – Великое разочарование. – Тайные свидания с братом**

Как только я поступил в корпус, у меня началась с Сашей оживленная переписка. Брат Саша в это время был в Москве, в кадетском корпусе. Покуда я оставался дома, от переписки пришлось отказаться, так как отец считал своим правом распечатывать все письма, прибывавшие в наш дом, и скоро положил бы конец всякой небанальной корреспонденции. Теперь мы имели полную возможность обсуждать в письмах что угодно. Было лишь одно затруднение: как достать денег на почтовые расходы? Мы, однако, скоро приучились писать так мелко, что умудрялись передавать невероятную массу вещей в одном письме. Александр писал удивительно. Он ухитрялся помещать по четыре печатных страницы на одной стороне листа обыкновенной почтовой бумаги. При всем том его микроскопические буквы читались так же легко, как четкий нонпарель. Крайне жаль, что некоторые из этих писем, которые я хранил, как святыню, исчезли. Жандармы забрали их у брата во время обыска.

В первых письмах мы говорили главным образом про мелочи корпусной жизни, но вскоре переписка приняла более серьезный характер. Брат не умел писать о пустяках. Даже в обществе он оживлялся лишь тогда, когда завязывался серьезный разговор, и жаловался, что испытывает «физическую боль в голове», как он говорил, когда находился среди людей, болтающих о пустяках. Саша сильно опередил меня в развитии и побуждал меня развиваться. С этой целью он поднимал один за другим вопросы философские и научные, присылал мне целые ученые диссертации в своих письмах, будил меня, советовал мне читать и учиться. Как счастлив я, что у меня такой брат, который при этом еще любил меня страстно. Ему больше всего и больше всех обязан я моим развитием.

Иногда, например, он советовал мне читать стихи и посылал в письмах длинные выдержки, а то и целые поэмы Лермонтова, А. К. Толстого и т. д., которые писал на память. «Читай поэзию: от нее человек становится лучше», писал он. Как часто потом вспоминал я это замечание и убеждался в его справедливости! Читайте поэзию: от нее человек становится лучше! Саша сам был поэтом и мог писать удивительно звучные стихи. Но реакция против искусства, прошедшая в молодежи в начале шестидесятых годов и изображенная Тургеневым в «Отцах и детях», заставила брата смотреть с пренебрежением на свои поэтические опыты. Его всецело захватили естественные науки. Должен, однако, сказать, что моим любимым поэтом был не тот, кого более всего ценил брат. Любимым поэтом Александра был Веневитинов, тогда как моим был Некрасов. Правда, стихи Некрасова часто не музыкальны, но они говорили моему сердцу тем, что заступались за «униженных и обиженных».

«Человек должен иметь определенную цель в жизни, – писал мой брат, без цели жизнь не в жизнь». И он советовал мне наметить такую цель, ради которой стоило бы жить. Я был тогда слишком молод, чтобы найти ее, но в силу призыва что-то неопределенное, смутное, «хорошее» закипало уже во мне, хотя я сам не мог бы определить, что такое будет это «хорошее».

Отец давал нам очень мало карманных денег. У меня их никогда не имелось столько, чтобы купить хотя бы одну книгу. Но если Александр получал несколько рублей от какой-нибудь тетюшки, то никогда не тратил ни копейки лично на себя, а покупал книгу и посылал ее мне. Саша был против беспорядочного чтения. «Приступая к чтению книги, у каж-

дого должен быть вопрос, который хотелось бы разрешить», – писал он мне. Тем не менее я тогда не вполне оценил это замечание. Теперь я не могу без изумления вспомнить громадное количество книг, иногда совершенно специального характера, которые я тогда прочитал по всем отраслям знания, а главным образом по истории. Я не тратил времени на французские романы, с тех пор как Александр решительно определил их так: «Они глупы, и там ругаются скверными словами».

Главной темой нашей переписки был, конечно, вопрос о выработке мирозозерцания. В детстве мы никогда не отличались религиозностью. Нас брали в церковь, но в маленькой деревенской церкви торжественное настроение народа производит гораздо более сильное впечатление, чем сама служба. Из всего того, что я слышал в церкви, лишь две вещи произвели на меня впечатление: чтение в страстной четверг «двенадцати евангелий» и молитва Ефрема Сирина, которая действительно прекрасна как по простоте, так и по глубине чувства. Пушкин переложил ее, как известно, в стихи:

Владыка дней моих! Дух праздности унылой,  
Любоначалия, змеи сокрытой сей,  
И празднословия не дай душе моей...

Еще раз у меня шевельнулось чувство вроде религиозного – это когда мы с Ульяной, нашей няней, вышли рано утром к заутрене в страстную пятницу. Утренний холодок, замерзшие лужицы, весенний воздух и встающее солнце – все это создавало какое-то особое настроение. Но что тут было главное – заутреня или поэзия природы? Заутрени я вовсе не помню, но помню и воздух, и замерзшие лужицы, и весеннее солнце – точно живая страница из Тургенева в природе.

Вообще православная церковная служба в маленьких церквях, и особенно в деревнях, обставлена так, что производит в ней впечатление не сама служба, а, скорее, молящийся народ. В Никольском, например, священник торопится (нужно бежать на покос), отжаривает с поразительной скоростью царскую фамилию, которую при Николае I приходилось отчитывать четыре раза во время обедни с начала до конца, заканчивая королевой Нидерландской Анной Павловной (королеву «Меделянскую», как мы тогда говорили).

Рыжий пономарь, когда ему приходилось сорок раз подряд говорить «господи помилуй», жарил так, что на всю церковь так и раздавалось «помело-с, помело-с». А дьячок Иван Степанович, с копной никогда не расчесываемых седых волос на голове, с соломой и репейником в волосах и в бороде, поет «Иже херувимы», а сам в это время найдет кусок сухой баранки в налое и грызет ее среди пения: «Иже хе-хе-хе (проглотит) ру-ви-и-и-и-мы», а потом вытаскивает какое-то насекомое из бороды и давит: «...тайно о-бра-зу (хлоп его) у-ю-ще» и т. д.

Ну, да и в Москве бывало не лучше. Уж на что «выразительно» служил у Успенья на могильцах Ипполит Михайлович Богословский-Платонов. И певчие превосходные, и сам так выразительно произносит слова, и даже проповеди читал. Все дамы из Старой Конюшенной ходили к нему. А между тем однажды, когда он выносил дары и дьякон пыжился, бая «благочестивейшего, самодержавнейшего!..», Ипполит Михайлович, заметив, что рослый лакей загородил одну из наших красавиц близ амвона, густым отчетливым шепотом сказал ему: «Куда лезешь, болван! Ступай назад!»

Да и вообще вся обедня с «дарами», которые считаются «телом господним», и «херувимами», и с вычитыванием тут же царской фамилии всегда коробила меня. Когда служат соборно и каждый священник своим голосом – один басом, другой гнусавым голосом, третий старческим шепотом – наперерыв друг за другом бормочет: «...и супругу его, благоче-

стивейшую... и великого князя такого-то» и так далее без конца, – все это вызывало во мне отвращение, и я видел в этом только одну смешную сторону.

Впоследствии в Петербурге я бывал несколько раз в католической церкви, но меня поразила там театральность и отсутствие истинного чувства. Впечатление это было еще сильнее, когда я видел простую веру какого-нибудь отставного польского солдата или же крестьянки, молившихся в дальнем углу. Заходил я также и в протестантскую церковь; но когда я вышел оттуда, то поймал себя на том, что шептал стихи Гете:

...пожалуй, этим  
Вы угодите дуракам и детям:  
Но сердце к сердцу речь не привлечет  
Коль не из сердца ваша речь течет.

Александр в то время с обычным пылом увлекся лютеранством. Он прочел книгу Мишлэ о Сервете и составил себе собственную веру по образу этого знаменитого антиринитария. С энтузиазмом изучил он Аугсбургскую декларацию, которую перевел и прислал мне; наши письма тогда переполнены были рассуждениями о благодати и цитатами из посланий апостолов Павла и Якова. Я слушал брата, но богословские беседы не особенно глубоко интересовали меня. Я стал читать книги совсем другого характера, когда оправился от тифа.

Лена была тогда уже замужем, жила в Петербурге, и по субботам вечером я отправлялся к ней. Муж ее имел порядочную библиотеку, в которой находились энциклопедисты и лучшие произведения современных французских философов. Я погрузился в чтение этих книг. Они были запрещенные, и я не мог брать их с собою в корпус, но зато по субботам до глубокой ночи я читал энциклопедистов, «Философский словарь» Вольтера, произведения стоиков, в особенности Марка Аврелия, и т. д. Бесконечность вселенной, величие природы, поэзия и вечно бьющаяся ее жизнь производили на меня все большее и большее впечатление, а никогда не прекращающаяся жизнь и гармония природы погружали меня в тот восторженный экстаз, которого так жаждут молодые натуры. В то же время у моих любимых поэтов я находил образцы для выражения той пробуждавшейся любви и веры в прогресс, которой красна юность и которая оставляет впечатление на всю жизнь.

Александр между тем постепенно дошел до кантианского критицизма. Письма его наполнились «относительностью представлений», «представлениями во времени и в пространстве и во времени только» и т. д. Почерк становился все более и более микроскопическим, по мере того как возрастала важность предмета. Но ни тогда, ни впоследствии, когда мы целыми часами обсуждали кантовскую философию, брату не удалось превратить меня в поклонника кенигсбергского философа.

Моими любимыми предметами стали точные науки-математика, физика и астрономия.

В 1858 году, еще до появления бессмертного труда Дарвина, профессор зоологии Московского университета К. Ф. Рулье напечатал три лекции о трансформизме. Мой брат тотчас же ухватился за идею об изменчивости видов; но он не довольствовался приблизительными доказательствами, а занялся изучением специальных работ о наследственности и т. п. В письмах он сообщал мне главные факты, а также свои выводы и сомнения. Появление «Происхождения видов» не разрешило его сомнений по поводу некоторых специальных пунктов. Книга Дарвина только подняла ряд новых вопросов, которые побудили его заниматься еще с большим усердием. Впоследствии мы обсуждали – и наши обсуждения продолжались много лет – различные вопросы, касающиеся происхождения уклонений в видах, возможности передачи этих уклонений по наследству и усиление их. Короче, нас занимали те трудности в теории естественного подбора, которые были недавно подняты в научном споре между Спенсером и Вейсманом, в исследованиях Гальтона и в трудах современных неоламарки-

стов. Благодаря своему философскому и критическому уму Александр сразу заметил, какое важное значение для теории изменчивости видов имеют эти вопросы, которые тогда были недосмотрены многими учеными.

Должен я также упомянуть о временной экскурсии в область политической экономии. В 1858 и 1859 годах все в России говорили о политической экономии. Лекции о протекционизме и свободной торговле привлекали массу слушателей. Горячо, хотя и ненадолго, заинтересовался экономическими вопросами и Александр, который тогда еще не был поглощен всецело происхождением видов. Он прислал мне для прочтения курс Жана Батиста Сея; я прочел, однако, лишь несколько глав: тарифы и банковые операции не интересовали меня. Зато Александр увлекся всеми этими материями так сильно, что писал даже о них мачехе, пытаясь заинтересовать ее системой таможенных пошлин. Впоследствии, в Сибири, мы перечитывали эти письма. Мы хохотали, как дети, когда дошли до одного послания, в котором Саша горько жаловался на неспособность мачехи заинтересоваться даже такими жгучими вопросами и неистовствовал по поводу одного «меднолобого зеленщика», которого изловил на улице. Со многими восклицательными знаками Саша писал. «Поверишь ли, несмотря на то что он лавочник, этот болван со свинским равнодушием относился к тарифным вопросам!»

Каждое лето половина всех пажей уходила в лагерь в Петергоф. Два младших класса освобождались, однако, от этого. Таким образом, два года я проводил каникулы в Никольском. Оставить корпус, поехать в Москву и встретить там Александра было для меня таким счастьем, что я считал дни. Но раз в Москве меня ждало большое разочарование. Александр не выдержал экзамены и остался на второй год в том же классе. В сущности, он был еще слишком молод для специальных классов, но тем не менее отец очень рассердился и не позволил нам видеться. Меня это крайне опечалило. Мы уже не были детьми, и у нас много накопилось, что сказать друг другу. Я попытался отпроситься к тетке Сулима, в доме которой надеялся встретить брата, но получил решительный отказ. После второй женитьбы отца нам запретили ходить к родственникам матери.

В ту весну наш московский дом был полон гостей. Каждый вечер приемные ярко освещались, играл оркестр, кондитер приготавливал мороженое и печенье, а картежная игра в большой зале шла до поздней ночи. Я бродил бесцельно по ярко освещенным комнатам и чувствовал себя несчастным.

Раз ночью, после десяти, кто-то из слуг поманил меня знаком и шепнул, чтобы я вышел в переднюю. Я вышел. «Идите в людскую, – шепнул старый дворецкий Фрол, – Александр Алексеевич там».

Я помчался через двор, быстро взбежал на крыльцо, в людскую. В полутемной большой комнате за громадным столом я увидел Александра.

– Саша, мой милый, откуда ты? – Мы кинулись в объятия друг другу. Некоторое время мы ничего не могли сказать от волнения.

– Тише! Еще услышат нас! – зашептала кухарка Прасковья, утирая глаза углом передника. – Бедные сиротки! Если бы ваша мамаша жива была!..

Старый Фрол тоже стоял, понутив голову, и у него глаза мигали.

– Смотри же, Петя, никому ни слова! Слышишь, никому, – сказал он.

Прасковья между тем поставила на стол перед Александром горшок с кашей.

Сверкающий здоровьем Саша принялся уже говорить о разных разностях, уписывая в то же время кашу. Горшок пустел. Я едва мог добиться от Саши, как он явился так поздно. Жили мы тогда близ Смоленского бульвара, в Левшинском переулке, в нескольких шагах от того дома, в котором умерла мать, кадетский же корпус находился на другом конце Москвы, в Лефортове, верстах в семи.

Саша вместо себя уложил под одеяло чучело, сделанное из платья, затем спустился незаметно через окно «башни» и все семь верст прошел пешком.

– А ты не боялся проходить пустырями, возле корпуса? – спросил я.

– Кого мне бояться. Разве что на меня накинулись собаки, но я их сам же раздражил.

Завтра захвачу с собой тесак.

Кучера и другие слуги приходили между тем. Они вздыхали, глядя на нас, затем садились у стен и тихо перешептывались порой, чтобы не помешать нам. А мы, обнявшись, просидели до полуночи и беседовали о туманных пятнах и о гипотезе Лапласа, о строении вещества, о борьбе папской и императорской власти при Бонифации VIII и т. п.

Время от времени вбегал кто-нибудь из слуг и говорил:

– Петенька, поди покажись в зале, а то они поднялись от карт и могут хватиться тебя.

Я умолял Сашу, чтобы он не приходил на следующую ночь, но он тем не менее явился, выдержав предварительную стычку с собаками, против которых захватил тесак.

Еще быстрее вчерашнего помчался я на другой день, когда меня позвали в людскую. На этот раз Саша часть дороги проехал на извозчике. Прошлой ночью один из слуг принес ему деньги, которые получил от игравших в карты гостей, и упросил принять их. Саша взял немного мелочи на извозчика и поэтому прибыл раньше.

Думал он приехать на следующий день, но так как наши свидания могли навлечь беду на слуг, то мы решили расстаться до осени. Из коротенького официального письма, полученного на другой день, я узнал, что его ночные похождения остались нераскрытыми. Если бы про них узнали в корпусе, наказание было бы ужасно. Страшно даже подумать об этом! Сечение розгами перед всем корпусом до потери сознания, покуда несчастного унесут на простыне в госпиталь, а затем разжалование в кантонисты – все было возможно в то время.

Не менее жестоко пострадали бы слуги, если бы отец узнал про наши свидания. Но они умели хранить тайны и не выдавали друг друга. Все они знали про посещения Александра, но никто не обмолвился ни словом перед кем-нибудь из наших. Лишь только они да я во всем доме знали про свидания.

## Глава IV

### Ярмарка в Никольском. – Первая статистическая работа. – Поездка с «Козлом». – Белая харчевня

К тому же году относится мой первый опыт исследования народной жизни. Он подвинул меня на шаг ближе к нашим крестьянам и показал мне их в новом свете, а также пригодились впоследствии в Сибири.

Ежегодно в июле, в день казанской божьей матери, в храмовой праздник нашей церкви, в Никольском бывала большая ярмарка. Съезжались купцы из соседних городов; несколько тысяч крестьян собиралось из окрестных Деревень верст за сорок. Никольское тогда кипело народом два дня. В этом году Аксаков напечатал свое замечательное исследование украинских ярмарок. Саша, увлечение которого политической экономией стало тогда в зените, посоветовал мне сделать статистическое описание нашей ярмарки с целью определить оборот ее. Я последовал совету и, к великому моему изумлению, выполнил работу довольно успешно. Мои вычисления оборота, насколько я могу теперь припомнить, заслуживали столько доверия, сколько результаты многих статистических исследований.

Ярмарка наша продолжалась немного больше суток. Накануне храмового праздника ярмарочная площадь кипела жизнью. Наскоро сооружался длинный ряд навесов, под которыми продавались ситцы, нитки, ленты и всякие деревенские обновы. В большой каменный сарай привозились столы, стулья и скамьи, и он превращался в трактир. Пол его посыпался ярким желтым песком. Сооружались три новых кабака, издали привлекавшие внимание крестьян веником, насаженным на длинный шест. С изумительной быстротой вырастали ряды меньших лавчонок, в которых продавались посуда, сапоги, пряники и разная мелочь. В одном конце ярмарки вырывали в земле походные кухни. В громадных котлах варились целые бараны и четверики пшена и гречневой крупы. Тут стряпали щи и кашу для всей ярмарки. Накануне казанской, к полудню, на всех дорогах, ведущих к селу, уже не было проезда от пригнанного скота и крестьянских телег и возов, нагруженных глиняной посудой, бочками с дегтем, хлебом.

Всенощная служилась в нашей церкви с необычной торжественностью. Служили ее соборне около десятка священников и дьяконов из всех соседних сел. А дьячки на клиросе, подкрепленные молодыми сидельцами, заливались совсем как архиерейские певчие в Калуге. Церковь бывала набита битком. Все молились усердно. Торговцы соперничали друг с другом числом и величиной свеч, поставленных перед иконами, чтобы торговля шла бойчее. В церкви бывало так тесно, что пришедшие позже не могли протолкаться к алтарю. Постоянно вследствие этого от дверей к алтарю, из рук в руки переходили, смотря по состоянию молящегося, толстые и тонкие, белые и желтые свечи. Передававшие шептали: «Заступнице нашей, пресвятой казанской божьей матери», «Николаю-угоднику», «Фролу и Лавру». А то и просто «всем святым» без дальнейших определений.

Немедленно после всенощной начиналось подторжье. Я вполне отдался работе: опрашивал сотни людей о стоимости привезенного ими товара. К моему удивлению, работа спорилась. Конечно, и мне тоже задавали вопросы: «Зачем это вам? Уж не для старого ли князя? Не хочет ли он увеличить ярмарочный сбор?» Но мое уверение, что «старый князь» ничего не знает и знать не будет (он, конечно счел бы величайшим позором, что сын его занимался подобной переписью), разрешало все сомнения. Скоро я научился, как ставить вопросы. После нескольких стаканов чая, распитых с лавочником в трактире (в какой ужас пришел бы отец, если бы узнал это), все устроилось очень хорошо. Моей работой заинтересовался

также Никольский староста Василий Иванов, красивый молодой крестьянин, с умным лицом и шелковистой русой бородой.

– Коли тебе это нужно для твоей науки, то ты и делай, а потом, может, и нам пригодится, – заметил он и говорил потом крестьянам, что с моими опросами все ладно.

Короче сказать, «привоз» определился довольно точно. Но продажа, начавшаяся на другой день, представляла некоторые затруднения. Торгующие красным товаром сами еще не знали, на сколько они продали. В день храмового праздника молодые крестьянки просто брали лавки приступом. Каждая из них, продавши немного самотканого полотна, теперь покупала ленту, ситцу, цветной головной платок для себя, шейный платок для мужа и небольшие гостинцы для стариков и ребятишек, оставшихся дома. Что касается до тех, кто торговал посудой, пряниками, скотом или пенькой, то они (в особенности же старухи) сразу определяли сумму.

Хорошо торговала, бабушка? – задавал я вопрос.

– Грех жаловаться. Что бога гневить! Почти все уж продала.

И из маленьких итогов, которые они мне давали, у меня в записной книжке в общем складывались суммы в десятки тысяч рублей. Только один пункт остался не выясненным. Под палящим солнцем стояли сотни баб. Каждая принесла на продажу кусок самотканого холста, очень тонкого. Десятки покупателей с цыганскими лицами и ястребиными глазами шныряли в толпе, покупая холст. Эти сделки я мог определить лишь приблизительно при помощи Василия Иванова.

Я тогда не философствовал над своим опытом и просто радовался, что он удался. Но здравый смысл и способность быстрого русского крестьянина, выяснившиеся мне в эти два дня, произвели на меня глубокое впечатление. Впоследствии, когда мы занимались революционной пропагандой в народе, я нередко удивлялся тому, что мои товарищи, получившие гораздо более демократическое воспитание, чем я, не знали, как приступить к крестьянам или фабричным. Они пытались подделаться под народный говор, вводили много так называемых народных оборотов, но этим делали свою речь более непонятной.

Ничего подобного не требуется, когда говоришь или же пишешь для народа. Велико-русский крестьянин отлично понимает интеллигентного человека, если только последний не начиняет свою речь иностранными словами. Крестьянин не понимает лишь отвлеченных понятий, если они не пояснены наглядными примерами. Вообще я убедился из опыта, что нет такого вопроса из области естественных наук или социологии, которого нельзя бы изложить совершенно понятно для крестьян и вообще для деревенского населения всех стран. Требуется только, чтобы вы сами совершенно ясно понимали, о чем вы говорите, и говорили просто, исходя из наглядных примеров. Главное отличие между образованным и необразованным человеком то, что второй не может следить за цепью умозаключений. Он улавливает первое, быть может, и второе; но третье уже утомляет его, если он еще не видит конечного вывода, к которому вы стремитесь. Впрочем, как часто то же самое мы видим и в образованных людях.

Вынес я еще одно впечатление из этой юношеской работы, хотя оформил его лишь впоследствии. По всей вероятности, оно удивит не одного читателя. Я имею в виду дух равенства, крайне определенно выраженный не только в русских крестьянах, но вообще в деревенском населении всех стран. Мужик может рабски повиноваться помещику или полицейскому чиновнику; он подчиняется беспрекословно их воле, но он отнюдь не считает их высшими людьми. Через минуту тот же крестьянин будет с бариним разговаривать как равный с равным, если речь пойдет о сене или об охоте. Во всяком случае никогда я не наблюдал в русском крестьянине того подобострастия, ставшего второй натурой, с которым маленький чиновник говорит о своем начальнике или лакей о своем барине. Крестьянин слишком легко подчиняется силе, но не поклоняется ей.

В то лето я возвратился из Никольского в Москву необычным путем. Тогда железная дорога между Калугой и Москвой еще не существовала, а был некто «Козел», державший род почтовых дилижансов между обоими городами. Наши, конечно, никогда не ездили таким образом: на то были свои лошади и экипажи. Но отец, чтобы избавить мачеху от двойного путешествия, полушутливо предложил мне поехать дилижансом «на Козле». Я с радостью ухватился за это предложение. Мачеха довезла меня до Калуги, а оттуда я отправился с козловским тарантасом. В тарантасе нас было всего четыре человека: очень толстая купчиха, я да еще купец с мещанином на переднем сиденье. Путешествие оказалось чудное. Прежде всего я путешествовал сам (мне шел всего шестнадцатый год), а затем купчиха запаслась для трехдневного путешествия громадной корзиной с припасами и все время угощала меня всевозможными пирожками, печеньями и фруктами.

Но больше всего у меня запечатлелся один вечер. Мы остановились на постоялом дворе в большом селе. Старая купчиха заказала для себя самовар, а я отправился бродить по улицам. Мое внимание обратила белая харчевня, и я зашел туда. За столами, покрытыми белыми скатертями, сидели крестьяне и распивали чай. Заказал и я себе пару.

Все было для меня ново. Село было не господское, а казенных крестьян, сравнительно зажиточных, так как в селе было развито тканье полотна. За столами шел тихий, спокойный разговор; лишь иногда раздавался смех. Кто-то спросил меня, откуда я, куда еду, и скоро у меня завязался разговор с десятком крестьян об урожае в наших местах и о погоде, о сене. Затем мне стали задавать различные вопросы. Крестьяне желали знать все о Петербурге, а в особенности о ходивших тогда слухах о близости воли. И на меня повеяло каким-то особенно теплым чувством простоты, сердечности и сознания равенства – чувством, которое я всегда испытывал впоследствии среди крестьян. Ничего особенного не случилось в этот вечер, так что я даже себя спрашиваю, стоит ли упоминать о нем. А между тем теплая, темная ночь, спустившаяся на деревню, маленькая харчевня, тихая беседа крестьян, их пытливые расспросы о сотне предметов, лежащих вне круга их обычной жизни, все это сделало то, что с тех пор бедная белая харчевня стала для меня привлекательнее богатого, модного ресторана.

## Глава V

### Бурное время в корпусе. – Похороны императрицы Александры Федоровны

Корпус наш в 1860 году переживал бурное время. Когда Жирардот вышел в отставку, место его занял один из наших офицеров, капитан Федор Кондратьевич фон Бреверн. Он вообще был добрый человек, но ему засело в голову, что мы почитаем его не так, как соответствует высокому посту, занимаемому им. И вот наш капитан стал вселять в нас большое уважение и благоговение к себе и начал с того, что стал притеснять старший класс из-за всякой мелочи. Что казалось нам еще хуже, он посягнул на наши «вольности», происхождение которых терялось во мраке времен. Права эти были очень маленькие, но мы очень дорожили ими.

В результате получилось то, что корпус наш несколько дней «бунтовал». Последовало поголовное наказание и даже исключение из корпуса двух камер-пажей, наших любимцев.

Затем тот же капитан стал заходить в классы, где в течение часа до начала занятий приготовляли уроки. Мы считали, что в классах избавлены от надзора фронтowego начальства, так как находимся в ведении инспектора. Нас сильно задело вторжение в класс, и раз я громко заявил капитану, что «тут место инспектора классов, а не ротного командира». За эту дерзость я был посажен на несколько недель в карцер.

Карцером в корпусе служили две совершенно темные комнаты, в одну из которых я и был заперт. Заключение получал только кусок черного хлеба и кружку воды – и больше ничего. Очутившись в темноте карцера в первый раз, я скоро почувствовал сильную скуку. Бездеятельность буквально тяготила меня. Я начал делать гимнастику, пел отрывки из опер, но, несмотря на все это, время тянулось чрезвычайно медленно.

Прошла неделя, я все сидел. Тогда я придумал новое занятие... Я стал учиться лаять и выть по-собачьи. Через несколько дней я развил этот талант до совершенства. Я умел передавать лай собаки на луну, представлял, как лают две собаки при встрече, одна огромная и сильная, лающая басом на маленькую собачонку, которая в ответ, поджав хвост, твякает со страхом из-за угла на большую, и т. д.

Это, казалось бы, совершенно бесполезное занятие впоследствии имело практическое значение. Когда я плывал по Амуру в почтовой лодке, то ночью мое умение лаять по-собачьи оказывало нам большую пользу. Часто, плывя в темноте в безлунные ночи по реке, мы с трудом различали очертания берегов и не знали, где находятся селения. И всякий раз, когда нужно было пристать к берегу, мой товарищ, командир почтовой лодки, серьезно говорил мне: «Петр Алексеевич, будь так добр, полай немножко».

Я не заставлял себя просить, и мой звонкий лай тотчас же разносился по широкой реке. Через несколько минут на мой лай отзывались собаки из селений на берегу, и мы могли тогда легко ориентироваться и приставали к берегу. Так в жизни всякое знание может пригодиться.

В карцере я просидел больше двух недель. Но вот однажды в соседний карцер посадили одного пажа, и он стал сообщать мне через стенку корпусные новости.

Выслушав его, я захотел показать ему свое искусство и начал выть и лаять на всякие манеры и так напугал его, что он, как только его освободили, немедленно сообщил товарищам:

– Кропоткин, должно быть, с ума сошел за время своего пребывания в карцере, – говорил он, – я ему рассказываю все наши новости, а он лает и воем, как собака, мне в ответ...

Эта сенсационная новость сейчас же дошла до начальства, и на следующий же день меня стали выпускать на занятия, а в карцер отводили только ночевать.

Наконец меня позвали к директору, генералу Желтухину. Директор был добрый человек, но, увидав меня, он принял грозный и суровый вид, начал меня бранить и грозил исключением из корпуса.

– Что это ты выдумал оскорблять капитана? Как осмелился ты отвечать так инспектору корпуса? Ты знаешь, что тебя следует одеть в бараний тулуп и отправить к твоему отцу...

Директор старался придать свирепое выражение своему добродушному лицу. Военная дисциплина требовала, чтобы я стоял «навытяжку», не издавая ни звука, и молча выслушивал выговор директора. Но вскоре его гневный тон сменился на обыкновенный. Заметив это, директор вдруг приказал мне идти «к себе» в карцер. Я ушел. На следующий день я был освобожден из карцера.

Мое освобождение было встречено с восторгом всем классом. Капитан, с которым директор имел также беседу наедине в кабинете, прекратил после этого посещения классной комнаты. Я оказался победителем.

Благодаря тому что начальство сознавало, что инспектор позволял себе лишнее и выводил нас своими придирками из терпения, мой поступок не повлек за собою строгой кары. Я не был исключен из корпуса, а отделался лишь двумя неделями карцера и отметкой об этом в журнале об успехах и поведении.

После этого жизнь в корпусе вошла в свою обычную колею. Капитан больше не посягал на наши «вольности».

Едва эти волнения кончились, смерть вдовствующей императрицы снова прервала правильное течение занятий.

Похороны высочайших особ устраиваются всегда так, чтобы произвести особенно сильное впечатление на народ. Тело императрицы было доставлено из Царского Села, где она умерла, в Петербург, и с вокзала его перевезли по главным улицам в Петропавловскую крепость. Гроб провожала вся императорская фамилия, высшие сановники, десятки тысяч чиновников и бесчисленные корпорации. Впереди шли сотни священников и хоры певчих. Сто тысяч гвардии было выстроено вдоль улиц. Тысячи людей в парадных формах участвовали в процессии, сопровождали колесницу или же шли впереди ее. На каждом перекрестке пелась лития. Звон церковных колоколов, пение громадных хоров, смешанные звуки соединенных военных оркестров – все это должно было внушать народу, что громадная толпа действительно оплакивает смерть императрицы.

Покуда гроб стоял в соборе Петропавловской крепости, пажи в числе прочих стояли возле него на часах днем и ночью. Три камер-пажа и три фрейлины постоянно дежурили возле гроба, помещавшегося на высоком катафалке, а пажей двадцать стояли на платформе, на которой два раза в день служились панихиды в присутствии императора и всей его семьи. Ради этого ежедневно отвозили в крепость чуть не половину нашего корпуса. Мы сменялись каждые два часа, и днем дежурить было нетрудно. Но жутко бывало вставать ночью, одеваться в придворное платье и затем идти в собор темными и мрачными дворами крепости при печальном перезвоне башенных часов. Холод тогда пробегал у меня, когда я вспоминал о заключенных, замурованных где-то тут, в этой русской Бастилии. «Кто знает, – думал я, – быть может, и мне предстоит когда-нибудь попасть в число их».

Похороны не обошлись без происшествия, которое могло бы иметь очень серьезные последствия. Над гробом, под куполом собора, сделан был громадный балдахин, увенчанный большой позолоченной короной. От нее к четырем громадным пилястрам, поддерживающим купол, ниспадала огромная пурпурная мантия, подбитая горностаем. Впечатление получалось сильное: но мы, пажи, скоро открыли, что золоченая корона сделана из картона и дерева, что лишь нижняя часть мантии бархатная, верхняя же – из красного кумача и что

вместо горностая употребили белую бумагею с нашитыми беличьими хвостиками. Покрытые крепом щиты с гербами были тоже картонные. Но народу, которому вечером разрешили проходить мимо катафалка, чтобы приложиться к золотой парче, прикрывавшей гроб, не было времени рассмотреть бумагею горностай и картонные щиты. Желанный театральный эффект получался, и притом обходился недорого.

Во время панихид члены императорской фамилии, как водится, стояли с зажженными свечами, которые тушились после прочтения известных молитв. Раз один из маленьких великих князей, увидавши, что «большие» тушат свечи, перевернув их, сделал то же самое и нечаянно поджег черный креп, ниспадающий позади него с щита. Через мгновение щит и бумажная ткань пылали. Громадный огневой язык побежал вверх по тяжелым складкам так называемой горностаевой мантии.

Панихида прекратилась. Глаза всех были устремлены с ужасом на этот огненный язык, который взбегал все выше и выше, к картонной короне и к деревянной раме, поддерживавшей все сооружение. Стали падать куски горячей ткани, грозя зажечь траурные вуали дам.

Александр II потерялся лишь на мгновение, но немедленно оправился. «Нужно гроб нести», – приказал он. Камер-пажи тотчас же покрыли гроб золотой парчой, и все стали подходить, чтобы поднять его. Но в это время громадный огненный язык распался на мелкие голубые огоньки, которые пошли по ворсу ткани. Мало-помалу и они потухли среди пыли и копоти, накопившейся наверху.

Не могу сказать, на что я тогда больше засмотрелся: на ползущий ли огненный язык или на величественные и стройные фигуры трех фрейлин, стоявших возле гроба. Черные кружевные вуали висели у них вдоль плеч, а длинные шлейфы траурных платьев покрывали ступени катафалка. Ни одна из них не шелохнулась. Они стояли как прекрасные изваяния, лишь на глазах одной из них, Гамалеи, слезы блеснули, как жемчужины. Она была украинка родом и единственная красавица среди всех фрейлин.

В корпусе все было вверх дном. Занятия прекратились. Те из нас, которые возвращались с дежурства из крепости, жили временно в разных залах и классных комнатах. Так как делать было нечего, то придумывались различные проказы. Так, мы открыли стоявший в одной комнате шкаф, в котором находилась великолепная коллекция моделей животных, предназначавшаяся для преподавания естественной истории.

Собственно говоря, таково было ее официальное значение, но нам никогда не показывали животных. Зато мы решили воспользоваться моделями теперь. Из черепа, который мы нашли в шкафу, мы сделали привидение, чтобы пугать ночью товарищей и офицеров. Животных же мы разместили в самых уморительных положениях и группах: обезьяны разъезжали верхом на львах, овцы играли с леопардами, жирафы танцевали со слонами и т. д. Хуже всего было то, что в корпус приехал прусский принц, прибывший на похороны (кажется, тот самый, который стал впоследствии императором Фридрихом). Наш директор не преминул похвастать прекрасными педагогическими коллекциями и подвел гостя к злощастному шкафу. Едва прусский принц увидал нашу зоологическую классификацию, у него вытянулось лицо, и он быстро отвернулся. Директор оцепенел от ужаса, он лишился способности произносить членораздельные звуки и только тыкал рукой все по направлению морских звезд, помещенных в стеклянных коробках возле шкафа. Свита принца притворилась, будто ничего не замечает, и лишь украдкой окидывала взглядом курьезную коллекцию. А мы употребляли все усилия, чтобы не расхохотаться.

## Глава VI

### **Занятия в Пажеском корпусе. – Изучение физики, химии, математики. Часы досуга. – Итальянская опера**

Школьная жизнь юноши в России резко отличается от западноевропейской. У нас юноша в университете или в военной школе живо интересуется вопросами социальными, политическими и философскими. Так было по крайней мере в начале шестидесятых годов. Правда, из всех учебных заведений Пажеский корпус представлял наименее удобную почву для такого развития, но в ту эпоху всеобщего пробуждения прогрессивные идеи проникли к нам и захватили некоторых из нас. Это, впрочем, не мешало нам принимать деятельное участие в бенефисах и других проказах.

В четвертом классе я заинтересовался историей. По заметкам, составленным во время уроков и при помощи книг (Саша, конечно, прислал мне «Всеобщую историю» Лоренца), я написал для себя целый курс ранней истории средних веков. На следующий год меня заинтересовала борьба между папской властью и светской при Бонифации VIII и Филиппе IV; мне страстно захотелось получить разрешение работать в публичной библиотеке, чтобы там изучать великую борьбу. Это было, однако, не согласно с правилами: воспитанники средних учебных заведений туда не допускались. Добрый Беккер, старший библиотекарь в одном из отделений библиотеки, впрочем, уладил все препятствия: мне разрешили доступ в святые-лице. Я мог занять теперь место на одном из красных бархатных диванчиков, перед одним из столиков, составлявших тогда меблировку читальни. Познакомившись с учебниками, а затем с книгами, имевшимися в нашей библиотеке, я перешел к первоисточникам. Я не знал латыни, но вскоре открыл богатые источники на старом немецком и старом французском языках. Архаические формы и выразительность языка французских летописей доставляли мне высокое эстетическое наслаждение. Передо мной раскрылся совершенно новый общественный строй; я узнал про неведомый, сложный мир. С тех пор я научился ценить исторические первоисточники больше, чем модернизированные сочинения. Из последних действительная жизнь описываемого периода вытесняется партийными тенденциями, а не то и модной формулой. Замечу также, что ничто не дает такого толчка умственному развитию, как самостоятельно сделанные изыскания. Гораздо позже эти юношеские работы очень помогли мне.

К сожалению, я должен был прекратить занятия историей, когда перешел во второй (предпоследний) класс. Пажам в два года предстояло пройти то, что в других военных школах проходило в трех специальных классах. Работать поэтому приходилось много. Естественные науки, математика и школьные военные науки отодвинули историю на задний план.

Во втором классе мы начали серьезно заниматься физикой. Преподаватель Чарухин был превосходный – умный, саркастический, ненавидевший зубрячку; он хотел чтобы мы учились думать, а не просто заучивали факты.

Он был хорошим математиком и налегал на алгебраический анализ в физике. При этом он обладал удивительным даром: он умел выяснить основную мысль каждого физического закона и физических приборов, не теряясь в мелочах, как это делает большинство составителей учебников физики. Некоторые его вопросы были так оригинальны и объяснения так хороши, что они навеки врезались в моей памяти.

Учебник физики Ленца, которым мы пользовались, не был плох (большая часть учебников в военно-учебных заведениях была составлена лучшими учеными того времени), но

он устарел: в эти годы шла уже перестройка физических теорий. В силу этого наш преподаватель, следовавший собственной методе, начал составлять краткий конспект по своему предмету, и этот конспект мы отдавали литографировать. Случилось, однако, так, что через две-три недели составлять конспект пришлось мне. Как хороший педагог, Чарухин предоставил это мне всецело и сам читал лишь корректуры. Отделы о теплоте, электричестве и магнетизме пришлось писать заново, вводя новейшие теории, и таким образом я составил почти полный учебник физики, который отлитографирован для употребления в корпусе. Легко понять, как помогла мне впоследствии эта работа.

Во втором классе мы стали также изучать химию. И для нее мы имели великолепного преподавателя – артиллерийского офицера Петрушевского, страстного любителя предмета, сделавшего несколько важных исследований.

Годы 1859–1861 были временем расцвета точных наук. Грове, Клаузиус, Джоуль и Сегэн доказали, что теплота и электричество суть лишь различные формы движения. Около этого времени Гельмгольц начал свои исследования о звуке, которые составили эпоху в науке. Тиндаль в своих популярных лекциях, так сказать, прикоснулся к самым атомам и молекулам. Герард и Авогадро ввели в химию теорию замещений, а Менделеев, Лотар Мейер и Ньюландс открыли периодическую законность химических элементов. Дарвин своим «Происхождением видов» совершил полный переворот в биологических науках, а Карл Фогт и Мошотт, следуя за Клодом Бернаром, создали физиологическую психологию.

То было время всеобщего научного возрождения. Непреодолимый поток мчал всех к естественным наукам, и в России вышло тогда много очень хороших естественнонаучных книг в русских переводах. Я скоро понял, что основательное знакомство с естественными науками и их методами необходимо для всякого, для какой бы деятельности он ни предназначал себя. Нас соединилось пять или шесть человек, и мы завели род химической лаборатории. При помощи самых простых приборов, указанных для начинающих в превосходном учебнике Штекгардта, мы засели в комнате двух товарищей, братьев Замыцких, за химические опыты. Отец их, отставной адмирал, был очень рад, что дети его с такой пользой употребляют время, и не препятствовал нам собираться по воскресеньям и праздникам в «лаборатории», находившейся рядом с его кабинетом. Руководствуясь учебником Штекгардта, мы проделали все указанные там опыты. Должен прибавить, что мы чуть не подожгли дом и не раз отравляли воздух во всех комнатах хлором и тому подобными зловонными веществами. Но старый адмирал относился к этому очень добродушно. Когда мы за обедом рассказывали старику наши приключения, он тоже сообщал нам, как раз с товарищами чуть не спалил дом, преследуя менее полезную цель, чем мы, именно приготавливая жженку. А добрейшая мать товарищей говорила между припадками удушливого кашля: «Что ж, ничего не поделаешь, если для ваших занятий вам нужно возиться с такими снадобьями».

Мы ласкались к ней за такое милое отношение, и после обеда она обыкновенно садилась за рояль, и до поздней ночи мы пели дуэты, трио и хоры из опер. А не то мы брали партитуру какой-нибудь оперы – нередко «Руслана» и пели ее всю, от начала до конца. Мать Замыцких и их сестра пели партии примадонн, старший брат прекрасно исполнял теноровую партию, а я с его младшим братом с грехом пополам выполняли остальные. Химия и музыка шли, таким образом, рука об руку.

Высшая математика заняла тоже немалую часть моего времени. Многие из нас уже решили, что не пойдут в гвардию, где фронтовая служба и парады отнимали все время. Мы намеревались после производства поступить в артиллерийскую академию или в инженерную. Для этого мы должны были изучить аналитическую геометрию, дифференциальное и начало интегрального исчисления и брали частные уроки. Элементарная астрономия преподавалась нам тогда под именем математической географии, и я увлекся, в особенности в последний год пребывания в корпусе, чтением по астрономии. Никогда не прекращающа-

яся жизнь вселенной, которую я понимал как жизнь и развитие, стала для меня неистощимым источником поэтических наслаждений, и мало-помалу философией моей жизни стало сознание единства человека с природой, как одушевленной, так и неодушевленной.

Если бы у нас преподавались только перечисленные предметы, то и тогда все наше время было бы совершенно заполнено. Но нам читали еще гуманитарные науки: историю, законоведение, то есть общее знакомство со сводом законов, затем основы политической экономики и сравнительной статистики. Кроме того, нужно было одолеть громаднейшие курсы военных наук: тактики, военной истории (походы 1812 и 1815 годов в мельчайших подробностях), артиллерии и полевой фортификации.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.